

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА

РОБЕРТ  
ХАРРИС

ОФИЦЕР  
И  
ШПИОН

Настоящий мастер  
на пике своего  
творчества...

*Mail on Sunday*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

## Annotation

Франция, 1890-е годы. Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус объявлен особо опасным преступником, подвергнут гражданской казни и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение – шпионаж в пользу Германии. Жорж Пикар, бывший наставник Дрейфуса, а затем начальник одного из отделов департамента разведки, ведет собственное расследование этого противоречивого дела, к тому же откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса – таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Вот ее-то и надо найти Пикару, чтобы показать миру невиновность своего подопечного.

---

# Роберт Харрис

## Офицер и шпион

Robert Harris  
AN OFFICER AND A SPY  
Copyright © 2013 by Robert Harris  
All rights reserved

© Г. Крылов, перевод, 2017  
© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017  
Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

*Посвящается Джилл*

Задача этой книги – в художественной форме рассказать подлинную историю дела Дрейфуса – дела, которое стало настоящим позором для правосудия и, пожалуй, самым крупным политическим скандалом, завладевшим в 1890-е годы умами французов, а потом и людей всего мира. Это случилось через четверть века после того, как немцы нанесли поражение Франции в войне 1870 года и заняли территории Эльзаса и Лотарингии, что нарушило соотношение сил в Европе и стало спусковым механизмом Первой и Второй мировых войн.

Ни один из персонажей, даже самых незначительных, этого романа не вымышлен, и почти все события, в той или иной степени, имели место в действительности.

Для того чтобы превратить историю в роман, мне, естественно, пришлось прибегнуть к упрощениям, полностью вывести из романа некоторые исторические фигуры, придать действию бóльшую драматичность, а также додумать многочисленные детали. Так, например, Жорж Пикар никогда не писал секретного отчета о деле Дрейфуса и не помещал его в банковское хранилище в Женеве с указанием, что оно должно оставаться в сейфе, пока не пройдет сто лет со дня его кончины.

Но писатель имеет право на фантазию.

*Роберт Харрис*

*День взятия Бастилии, 2013 год*

# Персонажи

## *Семья Дрейфуса*

Альфред Дрейфус

Люси Дрейфус, жена

Матье Дрейфус, брат

Пьер и Жанна Дрейфус, дети

## *Армия*

Генерал Огюст Мерсье, военный министр в 1893–1895 гг.

Генерал Жан-Батист Бийо, военный министр в 1896–1898 гг.

Генерал Рауль ле Мутон де Буадефр, начальник Генерального штаба

Генерал Шарль-Артур Гонз, начальник Второго департамента (разведка)

Генерал Жорж Габриэль де Пельё, командующий войсками департамента Сена

Полковник Арман дю Пати де Клам

Полковник Фуко, военный атташе в Берлине

Майор Шарль Фердинанд Вальсен-Эстерхази, Семьдесят четвертый пехотный полк

## *Статистический отдел*

Полковник Жан Сандерр, глава отдела, 1887–1895

Полковник Жорж Пикар, глава отдела, 1895–1897

Майор Юбер-Жозеф Анри

Капитан Жюль-Максимильян Лот

Капитан Жюнк

Капитан Вальдан

Феликс Гриблен, архивист

Мадам Мари Бастьян, агент

## *Уголовная полиция*

Франсуа Гене

Жан-Альфред Девернин

Луи Тон

## *Графолог*

Альфонс Бертийон

## *Юристы*

Луи Леблуа, друг и адвокат Пикара

Фернан Лабори, адвокат Золя, Пикара и Альфреда Дрейфуса

Эдгар Деманж, адвокат Альфреда Дрейфуса

Поль Бертюлю, судебный следователь

## *Круг Жоржа Пикара*

Полин Монье

Бланш де Комменж и ее семья  
Луи и Марта Леблуа, друзья из Эльзаса  
Эдмон и Жанна Гаст, двоюродный брат и его жена  
Анна и Жюль Ге, сестра и зять  
Жермен Дюкасс, друг и протеже  
Майор Альбер Кюре, старый армейский приятель

#### *Дипломаты*

Полковник Максимилиан фон Шварцкоппен, немецкий военный атташе  
Майор Алессандро Паниццарди, итальянский военный атташе

#### *Дрейфусары*

Эмиль Золя  
Жорж Клемансо, политик и публицист  
Альбер Клемансо, юрист  
Огюст Шерер-Кестнер, вице-президент французского сената  
Жан Жорес, лидер французских социалистов  
Жозеф Рейнах, политик и писатель  
Артур Ранк, политик  
Бернар Лазар, писатель



– Майор Пикар к военному министру...

Часовой на улице Сен-Доминик выходит из будки, чтобы открыть ворота, и я бегу сквозь снежный вихрь по обдуваемому всеми ветрами двору в теплый вестибюль дворца де Бриенн [1], где вижу стройного молодого капитана Республиканской гвардии, который поднимается со стула, чтобы отдать мне честь. Я повторяю более настойчивым голосом:

– Майор Пикар к военному министру!

Мы с капитаном идем в ногу – я следом – по черному и белому мрамору официальной резиденции министра, вверх по изгибающейся лестнице, мимо серебряных доспехов времен «короля-солнце», мимо этого отвратительного образца имперского китча – картины «Наполеон на перевале Сен-Бернар» кисти Давида [2]. Наконец мы оказываемся на втором этаже, где останавливаемся перед окном, из которого открывается вид на прилегающую территорию, и капитан уходит, чтобы сообщить о моем появлении, а я остаюсь один, созерцая нечто редкое и прекрасное: зимнее утро, сад, онемевший от снега в центре города. Даже желтые электрические лампы в военном министерстве, мерцающие за ветками деревьев, производят какое-то волшебное впечатление.

– Генерал Мерсье ждет вас, майор.

Кабинет министра громаден, на его стенах деревянные голубоватые панели цвета утиного яйца. Двойной балкон выходит на усыпанную снегом лужайку. Двое пожилых военных в черной форме, старшие офицеры военного министерства, греются, стоя спиной к камину. Один из них – генерал Рауль ле Мутон де Буадефр, начальник Генерального штаба, специалист по России, архитектор нашего активно развивающегося союза с новым царем. Генерал столько времени провел при царском дворе, что со своими неухоженными бакенбардами стал похож на русского графа. Другому военному чуть больше шестидесяти, и это начальник де Буадефра – сам военный министр, генерал Огюст Мерсье.

Я марширую к середине ковра и отдаю честь.

У Мерсье неподвижное морщинистое лицо, похожее на кожаную маску. Время от времени у меня возникает странная иллюзия, будто за мной сквозь прищуренные веки наблюдает другой человек. Своим тихим голосом он произносит:

– Итак, майор Пикар, много времени это не заняло. И когда закончилось?

– Полчаса назад, генерал.

– Значит, можно ставить точку?

– Можно, – киваю я.

Тут-то все и начинается.

– Присядьте у огня, – приказывает министр. Он всегда говорит очень тихо. – Пододвиньте его, – указывает он мне на позолоченный стул. – Снимите шинель. Расскажите нам, как все было.

Генерал садится на краешек стула в ожидании: его тело чуть наклонено вперед, руки сцеплены, локти лежат на коленях. Протокол не позволил ему явиться на утренний спектакль лично. Он пребывает в положении импресарио, который пропустил собственное шоу, и жаждет подробностей: откровений, наблюдений, нюансов.

– Прежде всего, какое было настроение на улицах?



– Я бы сказал, на улицах царило настроение... ожидания.

Я рассказываю, как вышел из своей квартиры в предрассветной темноте и направился в Военную школу<sup>[3]</sup>, говорю для начала о том, что на улицах стояла необычная тишина, ведь сегодня суббота («Еврейский Шаббат», – чуть улыбнувшись, добавляет Мерсье) и к тому же лютый мороз. Вообще-то – хотя я и не говорю об этом, – когда я шел по плохо освещенным тротуарам улицы Буасьер и проспекта дю Трокадеро, меня охватили сомнения: не закончится ли провалом великая постановка министра. Но когда я добрался до моста Альма и увидел мрачную толпу, идущую над темными водами Сены, мне стало ясно то, что Мерсье, вероятно, знал с самого начала: человеческое желание видеть унижение другой человеческой особи всегда будет сильнее любого мороза.

Я влился в толпу, направлявшуюся на юг через реку и дальше по проспекту Боке. Поток людей был настолько широк, что не вмещался на деревянный тротуар и тек по улице. Это напомнило мне толпу на ипподроме, люди были охвачены таким же массовым предвкушением, общим желанием получить пикантное удовольствие. Туда-сюда ходили газетчики, продавая утренние выпуски. От жаровен поднимался запах жареных каштанов.

В конце проспекта я вышел из толпы и направился к Военной школе, где еще год назад служил преподавателем топографии. Толпа текла мимо меня к официальному месту сбора на площади Фонтенуа. Светало. Школа наполнилась звуками барабанов и горнов, стуком копыт и бранью, громкими приказами, грохотом ботинок. Каждый из пяти пехотных полков, расквартированных в Париже, получил приказ отправить на церемонию по две роты – одну из ветеранов, а другую из новых рекрутов, чье моральное состояние укрепитя этим примером. Я прошел мимо больших залов и оказался на бульваре Морлан, где полки уже строились в свои тысячи на замерзшей слякоти.

Я никогда не присутствовал на публичной казни, никогда не чувствовал этой атмосферы, но думаю, она должна быть именно такой, как в школе тем утром. Громадный простор бульвара Морлан являл собой подходящую сцену для грандиозного спектакля. Вдали, за ограждениями, в полукруге площади Фонтенуа, за цепочкой облаченных в черную форму жандармов, шевелилось огромное журчащее море розовых лиц. Каждый сантиметр пространства был заполнен. Люди стояли на скамьях, на крышах экипажей и омнибусов, сидели на деревьях, один человек даже сумел забраться на вершину стелы, воздвигнутой в память о войне 1870 года.

Мерсье, слушая мой рассказ, спрашивает:

– И сколько, по вашей оценке, там присутствовало?

– Полицейская префектура заверила меня, что двадцать тысяч.

– Всего? – Мои слова производят на министра меньшее впечатление, чем я ожидал. – Вы знаете, что первоначально я планировал устроить церемонию на Лонгшане? Ипподром вмещает пятьдесят тысяч.

– И судя по всему, министр, он был бы заполнен, – подобострастно говорит Буадефр.

– Без сомнения, мы бы его заполнили! Но министр внутренних дел счел, что существует опасность беспорядков. А я говорю: чем больше толпа, тем нагляднее урок.

И все же двадцать тысяч для меня много. Толпа издавала приглушенный, но зловещий звук, похожий на дыхание какого-то хищного животного: вот сейчас оно дремлет, а через мгновение может наброситься на вас. Незадолго до восьми появился кавалерийский эскорт, неторопливо двигавшийся перед толпой, и вдруг животное начало шевелиться, потому что между всадниками можно было разглядеть черную тюремную карету, которую тащила

четверка лошадей. Волна издевательских криков становилась все громче, накатывая на карету. Кортёж замедлил ход, открылись ворота, и карета с сопровождением загрохотала по брусчатке школы.

Я проводил их взглядом – они исчезли во внутреннем дворе. И тут стоящий рядом со мной человек сказал:

– Заметьте, майор Пикар: римляне скармливали львам христиан, а мы – евреев. Прогресс мне кажется очевидным.

На нем была шинель с поднятым воротником, на шее серый шарф, шапка натянута низко на глаза. Сначала я узнал его по голосу, а затем по тому, как бесконтрольно сотрясается его тело.

– Полковник Сандерр. – Я отдал честь.

– Где вы встанете, чтобы наблюдать шоу? – спросил Сандерр.

– Пока не думал об этом.

– Приглашаю вас со мной и моими людьми.

– Спасибо за честь. Но сначала я должен убедиться, что все проходит в соответствии с указаниями министра.

– Когда вы покончите со своими обязанностями, мы будем вон там. – Дрожащей рукой полковник показал в сторону бульвара Морлан. – Вид оттуда открывается хороший.

Мои обязанности! Вспоминая его слова, я хочу надеяться, что в них не было сарказма. Я прошел в гарнизонное управление, где арестованный содержался под надзором капитана Лебрана-Рено из Республиканской гвардии. Я не имел желания вновь увидеть приговоренного. Всего два года назад он был моим учеником в этом самом здании. Теперь мне было нечего ему сказать, я не испытывал к нему никаких чувств. Я бы хотел, чтобы он никогда не родился, а уж если родился, то исчез из Парижа, из Франции, из Европы. Солдат вызвал ко мне Лебрана-Рено, который оказался краснолицым неуклюжим парнем, похожим на полицейского. Он вышел и доложил:

– Предатель нервничает, но спокоен. Не думаю, что от него можно ждать каких-то неприятностей. Нити в его одежде ослаблены, а сабля распилена наполовину, чтобы легко сломалась. Всякие случайности исключены. Если он попытается произнести речь, генерал Дарра подаст знак и оркестр начнет играть, чтобы заглушить его слова.

– Интересно, какие же мелодии нужно играть, чтобы заглушить человека? – задумчиво говорит Мерсье.

– Может, морскую песенку, министр? – предполагает Буадефр.

– Неплохо, – рассудительно говорит Мерсье, однако при этом не улыбается, он вообще редко улыбается. Теперь генерал снова обращается ко мне: – Значит, вы наблюдали за происходящим вместе с Сандерром и его людьми. И что вы о них думаете?

Я не уверен, как мне следует отвечать, – ведь Сандерр все-таки полковник – и потому говорю осторожно:

– Это преданная группа патриотов, они проделывают важнейшую работу, но практически остаются неоцененными.

Ответ хорош. Настолько хорош, что может стать поворотным пунктом в моей жизни, а вместе с этим и в истории, которую я собираюсь рассказать. Во всяком случае Мерсье – или человек за маской Мерсье – внимательно вглядывается в меня, словно проверяя, искренни ли мои слова. Потом одобрительно кивает:

– Вы правы, Пикар. Франция многим им обязана.

Все шестеро этих образцов совершенства присутствовали сегодня на кульминации их работы в подразделении, эвфемистически названном статистическим отделом Генерального штаба. Я разыскал их после разговора с Лебраном-Рено. Они расположились чуть в стороне от всех, в юго-западном углу плаца под защитой одного из низких зданий, стоявших вокруг. Сандерр держал руки в карманах, опустил голову и, казалось, вообще здесь отсутствовал.

– Вы помните, – прерывает меня военный министр, поворачиваясь к Буадефру, – что Жана Сандерра когда-то называли самым красивым офицером во французской армии?

– Прекрасно помню, министр, – подтверждает начальник Генерального штаба. – Теперь в это трудно поверить. Бедняга.

По одну сторону от Сандерра стоял его заместитель, толстый алкоголик с лицом кирпичного цвета, он регулярно делал глоток из металлической фляжки, которую извлекал из набедренного кармана, по другую – единственный человек из его офицеров, которого я знал в лицо, – массивный Жозеф Анри, он похлопал меня по плечу и выразил надежду, что я упомяну его в своем докладе министру. В сравнении с ним два младших офицера секции, оба капитаны, казались бесцветными. Был еще и гражданский, костлявый клерк, который, судя по его виду, редко бывал на свежем воздухе. Он держал в руке театральный бинокль. Они подвинулись, освобождая для меня место, а алкоголик предложил глотнуть его грязного коньяка. Вскоре к нам присоединились еще двое посторонних – чиновник из Министерства иностранных дел и неприятный олух из Генерального штаба полковник дю Пати де Клам. Его монокль посверкивал в утреннем свете, как пустая глазница.

Близилось время начала, и в воздухе под зловеще-бледным небом ощущалось нарастающее напряжение. Почти четыре тысячи солдат были выведены на плац, но от них не исходило ни звука. Даже толпа смолкла. Движение происходило только по краям бульвара Морлан, где несколько приглашенных гостей – в сопровождении офицеров – с виноватым видом людей, опоздавших на похороны, спешили занять свои места. Крохотную стройную женщину в белой меховой шляпке и муфте, с вычурным голубым зонтиком сопровождал на место драгунский лейтенант. Некоторые зрители, располагавшиеся близ ограждения, узнали ее, и над грязью послышался легкий шелест аплодисментов, сопровождаемый криками: «Ура!» и «Браво!».

Сандерр, подняв голову, проворчал:

– Это что еще за мымра?

Один из капитанов взял у клерка театральный бинокль и навел на даму в мехах, которая теперь кивала и крутила зонтиком, благодаря толпу.

– Черт меня раздери, если это не божественная Сара! – Он чуть перенастроил бинокль. – А провожает ее Рошбо из двадцать восьмого, вот повезло сукину сыну.

Мерсье сидит, откинувшись на спинку кресла и гладит свои седые усы. Сара Бернар, пришедшая на его постановку! Вот что ему нужно от меня: художественный штрих, слухи в обществе. Но все же он изображает недовольство:

– Не могу представить, кто это догадался пригласить актрису...

Без десяти девять командующий действием генерал Дарра проскакал по мощеной дорожке в центр плаца. Лошадь генерала фыркнула и мотнула головой, когда он натянул поводья. Она описала круг, глядя на огромную толпу, стукнула копытом по земле и замерла.

В девять начали бить часы и прозвучали слова команды:

– Роты! Смирно!

Четыре тысячи пар ног одновременно ударили о землю, словно гром грянул. В тот же

момент из дальнего угла плаца появилась группа из пяти человек и двинулась к генералу. Когда они подошли ближе, их неясные очертания определились: четверо солдат с винтовками, а в центре – фигура осужденного. Они маршировали таким четким шагом, с такой выверенной скоростью, что удар их правой ноги о землю на каждом пятом шаге совпадал с боем часов. Осужденный только раз сбился, но тут же опять зашагал в ногу. Когда стихло эхо последнего удара часов, они остановились и отдали честь. Потом солдаты с винтовками развернулись и двинулись прочь, оставив осужденного перед генералом.

Раздалась дробь барабанов. Зазвучал горн. Вперед вышел чиновник с листом бумаги, держа его высоко перед глазами. Бумага трепыхалась на ледяном ветру, но голос его звучал удивительно мощно для такого маленького человека.

– Именем народа Франции, – нараспев проговорил он, – Первый постоянно действующий трибунал военного губернатора Парижа, заседавший при закрытых дверях, на открытом заседании вынес следующий приговор. Перед членами суда был поставлен единственный вопрос: виновен ли Альфред Дрейфус, капитан четырнадцатого артиллерийского полка, аттестованный офицер Генерального штаба и стажер Генерального штаба, в предоставлении иностранной державе или ее агентам в Париже в тысяча восемьсот девяносто четвертом году некоторого числа секретных или конфиденциальных документов, касающихся национальной обороны?

Суд единогласно решил: «Да, обвиняемый виновен».

Суд единогласно приговаривает Альфреда Дрейфуса к пожизненному заключению, объявляет капитана Альфреда Дрейфуса уволенным и определяет, что его разжалование должно происходить перед армейскими частями Парижского гарнизона.

Чиновник отошел назад. Генерал Дарра поднялся в стременах и вытащил саблю. Осужденному пришлось закинуть назад голову, чтобы видеть его. Пенсне у него отобрали. На нем теперь были очки без оправы.

– Альфред Дрейфус, вы не достойны носить оружие. Именем французского народа мы разжалуем вас!

– И в этот момент, – говорю я Мерсье, – осужденный впервые заговорил.

Мерсье от удивления вздрогнул:

– Он заговорил?

– Да. – Я вытаскиваю блокнот из кармана брюк. – Он поднял руки над головой и прокричал... – Тут я сверяюсь с записью, чтобы точно воспроизвести слова. – «Солдаты, они разжалуют невиновного! Солдаты, они бесчестят невиновного! Да здравствует Франция! Да здравствует армия!» – Я читаю ровным, лишенным эмоций голосом, подражая интонации Дрейфуса, с той только разницей, что Дрейфус, еврей из Мюлуза<sup>[4]</sup>, произносил слова с едва заметным немецким акцентом.

– Как это допустили? – хмурится министр. – С ваших слов я понял, что они собирались играть марш, если осужденный попытается произнести речь?

– Генерал Дарра решил, что несколько протестующих выкриков не являются речью, а музыка нарушит помпезность мероприятия.

– Толпа как-нибудь реагировала?

– Да. – Я снова сверяюсь с записями. – Они начали распевать: – «Смерть... смерть... смерть...»

Когда началось пение, мы посмотрели в сторону ограждения.

– Им нужно поспешать, иначе мероприятие выйдет из-под контроля, – сказал Сандерр.

Я попросил театральный бинокль, поднес его к глазам и, наведя на резкость, увидел человека гигантского роста, старшего сержанта Республиканской гвардии – теперь Дрейфусом занялся он. Несколькими мощными движениями он сорвал эполеты с мундира Дрейфуса, потом все пуговицы и золотые галуны с рукавов, затем встал на колени и сорвал золотую тесьму с его брюк. Я сосредоточился на выражении лица Дрейфуса. Оно было непроницаемым. Он смотрел перед собой, его покачивало из стороны в сторону при этих унижительных действиях, как ребенка, на котором поправляет одежду раздраженный взрослый. Наконец старший сержант вытащил саблю Дрейфуса из ножен, воткнул в землю и ударом ноги разломал ее. Обе половинки он бросил в кучу хлама у ног Дрейфуса и, сделав два резких шага назад, приложил руку к виску, а Дрейфус смотрел на попорченные символы его чести.

– Ну-ка, Пикар, – нетерпеливо сказал Сандерр, – у вас же бинокль. Расскажите, как он выглядит.

– Он выглядит, – ответил я, возвращая бинокль клерку, – как еврейский портной, подсчитывающий стоимость погибших золотых шнуров. Будь у него на шее метр, можно было бы сказать, что он стоит в портновской мастерской на улице Обер.

– Это хорошо, – сказал Сандерр. – Мне нравится.

– Очень хорошо, – эхом звучит голос Мерсье, который теперь закрывает глаза. – Прекрасно вижу его.

Дрейфус снова прокричал:

– Да здравствует Франция! Клянусь, что я невиновен.

Потом он начал долгий путь с сопровождением вдоль каждой из четырех сторон бульвара Морлан, прошел в своей разодранной форме перед всеми подразделениями, чтобы каждый солдат навсегда запомнил, как армия поступает с предателями. Время от времени он выкрикивал: «Я невиновен!», вызывая в толпе издевки и выкрики: «Иуда!» и «Еврейский предатель!». Казалось, это продолжалось бесконечно, хотя по моим часам – не более семи минут. Когда Дрейфус двинулся в нашу сторону, чиновник из МИДа, в чьих руках в этот момент оказался бинокль, сказал утомленным голосом:

– Не понимаю, как этот тип позволяет так унижать себя и в то же время говорит о собственной невинности. Если бы он был невиновен, то, конечно, сопротивлялся бы, а не позволил так покорно водить себя. Или это типично еврейская черта, как вы думаете?

– Конечно, это еврейская черта! – ответил Сандерр. – Эта раса начисто лишена патриотизма, чести, гордости. Они всегда только и делали, что предавали людей, среди которых жили много веков, начиная с Иисуса Христа.

Когда Дрейфус проходил мимо них, Сандерр повернулся к нему спиной, демонстрируя свое презрение. Но я не мог оторвать от него глаз. То ли из-за трех месяцев, проведенных в тюрьме, то ли из-за холода лицо Дрейфуса приобрело бледно-серый цвет – цвет личинки – и опухло. Его черный мундир без пуговиц распахнулся, обнажив белую рубашу. Редкие волосы торчали клочьями, и что-то сверкало в них. Он шел в ногу со своим эскортом. Посмотрел в нашу сторону, наши взгляды на миг встретились, и я смог заглянуть в его душу, увидев там животный страх, отчаянную умственную борьбу за то, чтобы остаться самим собой. Глядя на Дрейфуса, я понял, что его волосы отливают слюной. Он, вероятно, спрашивал себя, какую роль в его уничтожении сыграл я.

Оставался всего один этап его голгофы, наихудший для него, я в этом не сомневался: ему предстояло пройти вдоль ограждения, за которым стояла толпа. Полицейские сцепили руки,

чтобы удерживать людей на расстоянии. Но когда зрители увидели приближающегося осужденного, они стали напирать. Полицейское оцепление подалось, цепочка натянулась, а потом порвалась, и несколько протестующих прорвались наружу, они пробежали по мощеной площади и выстроились вдоль ограждения. Дрейфус остановился, повернулся лицом к ним, поднял руки и что-то сказал. Но он стоял спиной ко мне, и я не слышал его слов, только знакомые выкрики ему в лицо «Иуда!», «Предатель!» и «Смерть этому еврею!».

В конце концов сопровождение оттащило его и повело к тюремному экипажу, который ждал впереди вместе с конным сопровождением. На осужденного надели наручники. Он вошел в экипаж, двери закрыли и заперли, хлестнули лошадей, и кавалькада тронулась – выехала за ворота на площади Фонтенуа. На мгновение я усомнился, что экипаж уйдет от окружившей его толпы – люди тянули руки, чтобы ударить в стенки экипажа. Но кавалерийские офицеры успешно отогнали их плоской стороной сабель. Дважды я слышал удар хлыста. Кучер прокричал слова команды, лошади побежали резвее и вырвались из толпы, потом свернули налево и исчезли из вида.

Мгновение спустя стоявшим на плацу отдали команду разойтись. Раздался топот тысяч сапог, казалось, сотряслась сама земля. Зазвучали горны. Раздалась дробь барабанов. В тот момент, когда оркестр заиграл марш «Самбра и Маас»<sup>[5]</sup>, пошел снег. Я испытал громадное облегчение. Думаю, все мы испытали облегчение. Мы вдруг спонтанно принялись пожимать друг другу руки. Ощущение было такое, будто здоровое тело извергло из себя нечто грязное и тлетворное и теперь можно начать жизнь с чистой страницы.

Я заканчиваю мой доклад. В министерском кабинете воцаряется тишина, если не считать потрескивания огня.

– Предатель остается живым, – говорит наконец Мерсье. – Это единственное, о чем приходится пожалеть. Я говорю это скорее ради него самого, чем кого-либо другого. Какая жизнь его теперь ждет? Было бы гуманнее прикончить его. Вот почему я обратился в палату депутатов с просьбой о возвращении смертной казни за измену.

– Вы сделали что могли, министр, – заискивающе поддакивает Буадефр.

Мерсье встает, его коленные суставы издают треск. Он подходит к большому глобусу, который стоит на подставке перед его письменным столом, и подзывает меня. Надевает очки и, словно близорукое божество, смотрит на глобус.

– Мне необходимо поместить его в такое место, где он будет лишен возможности общаться с кем бы то ни было. Не хочу, чтобы он и дальше распространял свои предательские письма.

Министр накрывает на удивление изящной рукой северную полусферу и осторожно поворачивает мир. Мимо нас проплывает Атлантика. Он останавливает глобус и показывает какую-то точку на побережье Южной Америки, в семи тысячах километров от Парижа. Он смотрит на меня, вскидывает бровь, предлагая мне догадаться.

– Колония для преступников в Кайенне?<sup>[6]</sup>

– Почти угадали, только еще безопаснее. – Мерсье наклоняется над глобусом и постукивает по какой-то точке. – Чертов остров<sup>[7]</sup> – в пятнадцати километрах от берега. В море вокруг него полно акул. Громадные волны и сильные течения даже обычной лодке не позволяют причалить.

– Я думал, его уже закрыли много лет назад.

– И закрыли. Его последними обитателями были осужденные, больные проказой. Мне

потребуется одобрение палаты депутатов, но теперь я его получу. Остров откроют специально для Дрейфуса. Что скажете?

Первая моя реакция – удивление. Мерсье, женатый на англичанке, считается республиканцем и человеком свободомыслящим – он не ходит на мессу, например, что вызывает у меня восхищение. И невзирая на все это, в нем есть что-то от фанатика-иезуита.

«Чертов остров? – думаю я. – У нас на пороге вроде бы двадцатый век, а не восемнадцатый...»

– Ну? – повторяет он. – Что скажете?

– Это немного... – Я осторожно подбираю слова, стараясь быть тактичным. – Смахивает на Дюма...

– Дюма? Что вы имеете в виду?

– Только то, что это похоже на наказание из исторической художественной литературы. Я слышу в этом отзвук Железной Маски. Не станет ли Дрейфус «Человеком с Чертова острова»? Это сделает его самым знаменитым заключенным в мире...

– Вот именно! – восклицает Мерсье и ударяет себя по бедру: такое проявление эмоций у него – случай довольно редкий. – Это мне и нравится. Все только и будут об этом говорить.

Я склоняюсь перед его начальствующим политическим суждением. Хотя и задаю себе вопрос, как отнесется ко всему публика. И только когда я беру шинель, собираясь уходить, Мерсье предлагает мне разгадку.

– Вероятно, вы в последний раз видите меня в этом кабинете.

– Очень жаль, генерал.

– Как вы знаете, политика меня не интересует – я профессиональный солдат, а не политик. Но насколько я понимаю, среди партий существует огромное расхождение и правительство может продержаться еще неделю-две. Возможно, даже президент сменится. – Он пожимает плечами. – Как бы то ни было, дела обстоят именно так. Мы, солдаты, служим там, где нам прикажут. – Генерал пожимает мне руку. – На меня произвели впечатления те способности, которые вы продемонстрировали в ходе этого несчастного дела, майор Пикар. Ваша служба не будет забыта. Верно я говорю, начальник штаба?

– Верно, министр. – Буадефр тоже поднимается, чтобы пожать мне руку. – Спасибо, Пикар. Вы были великолепны. Впечатление такое, будто я сам побывал там. Кстати, как ваше изучение русского?

– Сомневаюсь, что мне удастся говорить по-русски, генерал, но уже сейчас я могу читать Толстого. Конечно, со словарем.

– Отлично. Отношения между Францией и Россией развиваются. Хорошее знание русского будет очень полезным для карьеры молодого офицера.

Я уже у двери, собираюсь ее открыть, слегка польщенный их словами, но тут Мерсье неожиданно спрашивает:

– Скажите, а мое имя хоть раз упоминалось?

– Простите? – Я не уверен, что он имеет в виду. – Упоминалось в каком контексте?

– Во время утренней церемонии сегодня.

– Не думаю...

– Это не имеет никакого значения. – Мерсье делает пренебрежительный жест. – Я просто подумал, не было ли каких-либо демонстраций в толпе...

– Нет, ничего такого я не видел.

– Хорошо. Я ничего такого и не предполагал.

Я беззвучно закрываю за собой дверь.

Выйдя в каньон улицы Сен-Доминик, где гуляет ветер, я хватаюсь за фуражку и иду сто метров до следующей двери военного министерства. На улице никого нет. У моих коллег-офицеров в субботу явно находятся дела получше, чем присутствовать на бюрократических армейских мероприятиях. Здравомыслящие ребята! Я напишу рабочий отчет, очищу стол и попытаюсь выкинуть Дрейфуса из головы. Взбегаю по лестнице и по коридору спешу в мой кабинет.

Со времен Наполеона военное министерство было разделено на четыре департамента. Первый занимается управлением, второй – разведкой, третий – операциями и обучением, четвертый – транспортом. Я работаю в третьем под командой полковника Буше, которого – он тоже из категории здравомыслящих – в это зимнее утро нигде не видно. Я его заместитель, и у меня есть собственный небольшой кабинет – голая монашеская келья с окошком, выходящим на мрачного вида внутренний двор. Два стула, стол и шкаф – вот и вся моя мебель. Отопление не работает. Воздух такой холодный, что я вижу облачко собственного дыхания. Я сажусь, не снимая шинели, и смотрю на завалы бумаг, накопившиеся за последние несколько дней. Со стоном беру одну из папок.

Проходит, вероятно, часа два, когда я слышу приближающийся по пустому коридору тяжелый топот. Я не знаю, кто это. Он проходит мимо моего кабинета, останавливается, возвращается и встает у моей двери. Дверь настолько тонка, что я слышу его тяжелое дыхание. Я встаю, бесшумно подхожу к двери, прислушиваюсь, потом резко распахиваю ее и вижу начальника второго департамента – то есть главу военной разведки, который смотрит на меня. Не знаю, кто из нас смущен в большей степени.

– Генерал Гонз, – говорю я, отдавая честь. – Я понятия не имел, что это вы.

Гонз известен тем, что работает по четырнадцать часов в сутки. Я мог бы догадаться, что если в здании и есть кто-то еще, так это он. Его враги говорят, иначе ему не справиться с работой.

– Все в порядке, майор Пикар. Это здание настоящий лабиринт. Вы позволите? – Он вперевалочку на своих коротких ногах входит в мой кабинет, попыхивая сигаретой. – Извините, что мешаю вам, но мне только что пришло сообщение от полковника Герена с Вандомской площади. Он говорит, что Дрейфус сегодня утром на плацу во всем признался. Вы это знали?

Я смотрю на него как идиот:

– Нет, генерал, не знал.

– Судя по всему, за полчаса до начала сегодняшней церемонии он сказал капитану, который охранял его, что он все же передал документы немцам. – Гонз пожимает плечами. – Я думал, вы должны знать, ведь вам поручили вести наблюдение за церемонией и доложить министру.

– Но я уже доложил министру... – Я в ужасе. Такого рода просмотр может стоить мне карьеры. С самого октября, несмотря на более чем достаточные улики против него, Дрейфус отказывался признать свою вину. А теперь мне сообщают, что он в конце концов признался. Сделал это практически у меня под носом, а я ничего не заметил! – Пожалуй, мне нужно пойти и проверить.

– Я вам тоже рекомендую. А когда все выясните, сообщите мне.

И снова я спешу на морозную серую улицу. Беру экипаж на углу бульвара Сен-Жермен и,



когда мы доезжаем до Военной школы, прошу извозчика подождать меня. Тишина пустого плаца – словно насмешка надо мной. Единственный признак жизни – уборщики, очищающие от мусора площадь Фонтенуа. Я возвращаюсь в экипаж и прошу извозчика как можно скорее довезти меня до штаба военного губернатора Парижа на Вандомской площади, где я жду полковника Герена в вестибюле этого мрачного и обветшалого здания. Он не торопится, а когда наконец появляется, то с видом человека, оторванного от хорошего обеда, который горит желанием поскорее вернуться к столу.

– Я уже все объяснил генералу Гонзу.

– Прошу прощения, полковник. Не могли бы вы объяснить и мне?

Он вздыхает:

– Капитану Лебрану-Рено было поручено до начала церемонии приглядывать за Дрейфусом в караульном помещении. Он передал его эскорту, а когда началось разжалование, подошел туда, где стояли мы, и сказал что-то вроде: «Черт меня побери, если эта мразь сейчас не призналась во всем».

Я достаю блокнот:

– Что, по словам капитана, сказал ему Дрейфус?

– Точных слов я не помню, но суть сводилась к тому, что он передавал секретные документы немцам, но они не имели особой важности, и министр все о них знал. И что через несколько лет вся правда станет известна. Что-то в таком роде. Вам нужно поговорить с Лебраном-Рено.

– Нужно. Где его найти?

– Понятия не имею. Он сейчас свободен.

– Он все еще в Париже?

– Мой дорогой майор, откуда я могу знать?

– Не могу понять, – говорю я, – почему Дрейфус вдруг признает свою вину перед совершенно незнакомым человеком, да еще в такой момент. И ничего не выигрывая при этом. После того, как он в течение трех месяцев все отрицал.

– Тут я вам ничем не могу помочь.

Полковник смотрит через плечо в направлении своего обеда.

– И если он признался капитану Лебрану-Рено, то почему он после этого много раз кричал о своей невинности перед враждебно настроенной многотысячной толпой?

– Вы называете одного из моих офицеров лжецом? – поводит плечами Лебран-Рено.

– Спасибо, полковник. – Я убираю блокнот.

Я возвращаюсь в министерство и сразу же иду в кабинет Гонза. Перед ним груда папок. Слушая мое сообщение, он закидывает ноги на стол и откидывается на спинку стула. Потом говорит:

– Значит, вы считаете, что в этом ничего нет?

– Нет, не считаю. Я должен узнать детали. Скорее всего, этот капитан неправильно понял Дрейфуса. Либо так, либо приукрасил историю, чтобы выглядеть более значительным в глазах товарищей. Я, конечно, предполагаю, – добавляю я, – что Дрейфус не был двойным агентом, подсунутым немцам.

– Хоть бы так! – Гонз смеется и закуривает еще одну сигарету.

– Что я, по-вашему, должен сделать, генерал?

– Вряд ли тут можно что-то сделать.

– Есть только один способ узнать наверняка, – после некоторой паузы говорю я.

– И какой же?

– Мы можем спросить самого Дрейфуса.

– Категорически нет, – качает головой Гонз. – Связь с ним теперь запрещена. И потом, его вскоре вышлют из Парижа. – Генерал опускает ноги со стола на пол, подтягивает к себе стопку папок. Пепел сигареты просыпается на грудь его мундира. – Предоставьте это мне. Я все объясню начальнику штаба и министру. – Он открывает папку и начинает ее просматривать. Не поднимая головы, говорит: – Спасибо, майор Пикар. Вы свободны.

Вечером я, облачившись в гражданское, еду в Версаль повидаться с матерью. Продуваемый всеми ветрами поезд плетется по окраинам Парижа, причудливо припорошенным снежком и освещенным газовыми фонарями. Поездка длится около часа. В вагоне, кроме меня, никого. Я пытаюсь читать роман Достоевского «Подросток». Но каждый раз, когда мы проезжаем по стрелкам, свет выключается, и я теряю место на странице. В синем сиянии аварийного света я смотрю в окно и представляю себе Дрейфуса в камере тюрьмы Ла Санте. Осужденных доставляют туда по железной дороге в переоборудованных вагонах для перевозки скота. Я предполагаю, что Дрейфуса повезут на запад, в какой-нибудь порт на Атлантике, где он будет ждать отправки за океан. В такую погоду поездка превратится в сущий ад. Я закрываю глаза и пытаюсь дремать.

У моей матери небольшая квартирка на новой улице близ Версальского вокзала. Ей семьдесят семь, и она живет одна, вдовствует вот уже почти тридцать лет. Мы с сестрой по очереди проводим с ней время. Анна старше меня, у нее дети – у меня детей нет, – и мое дежурство всегда попадает на субботний вечер – единственное время, когда я наверняка могу уехать из министерства.

Когда я приезжаю, на улице уже давно стоит темнота, температура, вероятно, около минус десяти. Мать из-за закрытой двери кричит:

- Кто там?
- Это Жорж, мама.
- Кто?
- Жорж. Твой сын.

Минута уходит у меня на убеждения, наконец она открывает дверь. Иногда мать принимает меня за моего старшего брата Поля, который умер пять лет назад, а иногда – и это странным образом хуже – за моего отца, который умер, когда мне было одиннадцать. Еще одна сестра умерла до моего рождения, другой брат умер на одиннадцатый день после рождения. О старческом слабоумии можно сказать лишь одно: потеряв разум, мать не испытывает желания общаться с кем бы то ни было.

Хлеб зачерствел, молоко замерзло, в трубах лед. Первые полчаса я растапливаю печь, чтобы прогреть квартиру, вторые – лежа на спине, ликвидирую течь. Мы едим говядину по-бургундски, ее купила девушка в местной кулинарной лавке, она приходит раз в день. У мамы сегодня более ясная голова, она даже, кажется, вспоминает, кто я такой. Я рассказываю ей, чем занимался последнее время, но о Дрейфусе и его разжаловании ничего не говорю – ей и так трудно понять, о чем я веду речь. Потом мы садимся за рояль, который занимает большую часть крохотной гостиной, и играем в четыре руки «Рондо» Шопена. Играет моя мать безупречно. Музыкальная часть ее мозга не сдастся болезни. Потом она ложится спать, а я сажусь на табурет и принимаюсь разглядывать фотографии на рояле: торжественные семейные группы в Страсбурге, сад дома в Жёдертхейме, миниатюрный портрет моей матери – ученицы музыкальной школы, пикник в лесу Нойдорфа – осколки исчезнувшего мира, Атлантида, которую мы потеряли в ходе войны<sup>[8]</sup>.

Мне было шестнадцать, когда немцы бомбили Страсбург, таким образом сделав меня свидетелем того события, о котором мы рассказываем кадетам в Высшей военной школе как о «первом целенаправленном и полномасштабном применении современной дальнобойной

артиллерии для уничтожения гражданского населения». На моих глазах сгорели городская художественная галерея и библиотека, я видел, как рушились дома, видел смерть друзей, помогал вытаскивать незнакомых мне людей из завалов. После девяти недель сопротивления гарнизон сдался. Нам предложили выбор: остаться и стать подданными Германии или бросить все и переехать во Францию. Мы приехали в Париж без средств к существованию и лишены всяких иллюзий относительно безопасности нашей жизни.

Если бы не война 1870 года, я мог бы стать преподавателем музыки или хирургом. Но после войны любая карьера, кроме военной, казалась пустым занятием. Военное министерство оплатило мое обучение. Армия стала моим отцом, и ни один сын не старался так, как я, угодить своему родителю. Я ломал свой мечтательный и склонный к занятиям искусством характер беспощадной дисциплиной. Нас было 304 кадета в моем выпуске военной школы в Сен-Сире, я закончил пятым. Я знаю немецкий, итальянский, английский и испанский. Я сражался в горах Орес на севере Африки, был за это награжден Колониальной медалью, за службу на Красной реке в Индокитае получил Звезду за храбрость. У меня есть орден Почетного легиона. И сегодня, после двадцати четырех лет службы, я удостоился похвалы военного министра и начальника Генерального штаба. Я лежу во второй спальне в квартире моей матери в Версале, и пятое января 1895 года переходит в шестое, а в голове у меня звучит не голос Альфреда Дрейфуса, кричащего о своей невиновности, а слова Огюста Мерсье, намекающего на мое повышение: «На меня произвели впечатления те способности, которые вы продемонстрировали... Ваша служба не будет забыта...»

На следующее утро под звук колоколов я беру мать под хрупкую руку, и мы идем наверх по обледенелой дороге, потом за угол – к церкви Сен-Луи, которую я считаю особенно помпезным памятником государственным суевериям. Ну почему немцы не взорвали, скажем, ее? В церкви облаченные в черные и белые одеяния прихожане, монахини и вдовы. У дверей я отпускаю руку матери.

– Буду ждать тебя здесь после мессы.

– А ты не идешь?

– Я никогда не хожу, мама. Мы с тобой каждую неделю ведем этот разговор.

Она смотрит на меня влажными серыми глазами. Голос ее дрожит;

– Но что я скажу о тебе Господу?

– Скажи Ему, что я буду в «Кафе дю коммерс» вон там, на площади.

Я оставляю мать на попечении молодого священника и иду в кафе. По пути останавливаюсь, чтобы купить две газеты – «Фигаро» и «Пти журнал». В кафе я сажусь за столик у окна, заказываю кофе, закуриваю. В обеих газетах на первых страницах церемония разжалования, а «Журнал» сегодня практически не пишет больше ни о чем. Отчет проиллюстрирован несколькими набросками: Дрейфуса выводят на плац, полный чиновник в шляпе и накидке зачитывает приговор, с мундира Дрейфуса срывают знаки различия, сам Дрейфус, который в свои тридцать пять лет выглядит седоволосым стариком. Под заголовком «Искушение» читаю: «Мы требовали высшей меры для предателя. Мы продолжаем считать, что единственное справедливое наказание ему – смерть...» Слово вся ненависть, все обвинения, копившиеся с 1870 года, сконцентрировались в одном этом человеке.

Я попиваю кофе, мой взгляд скользит по сенсационному описанию церемонии и вдруг наталкивается на следующее: «Дрейфус повернулся к сопровождающему и сказал: „Если я и передавал кому документы, то лишь для того, чтобы получить гораздо более важные. Через

три года правда станет очевидной, и сам министр заново откроет мое дело“. Это первое полупризнание, сделанное предателем после его ареста...»

Не отрывая глаз от газеты, я медленно ставлю чашку, перечитываю этот пассаж снова. Потом беру «Фигаро». Здесь на первой странице никаких упоминаний о признании или полупризнании – уже облегчение. Но на второй нахожу более позднее сообщение: «Новость, поступившая в последний час: со слов свидетеля...» Я читаю иную версию той же истории, только здесь в качестве свидетеля назван Лебран-Рено, и теперь я безошибочно угадываю голос самого Дрейфуса. В каждой строке я слышу его отчаяние, его лихорадочную потребность убедить хоть кого-то, пусть и сопровождающего его офицера:

Капитан, послушайте меня. В шкафу посольства обнаружили письмо – сопроводительную записку к четырем другим документам. Письмо показали графологам. Трое из них сказали, что записку писал я, двое – что не я. И меня приговорили только на этом основании! Я в восемнадцать лет поступил в Политехническую школу. Меня ждала блестящая военная карьера, состояние в пятьсот тысяч франков и перспектива ежегодного дохода в пятьдесят тысяч. Я не гонялся за девушками. Я в жизни не притронулся к картам. Поэтому нужды в деньгах не испытывал. Зачем мне совершать предательство? Ради денег? Нет. Тогда зачем?

Ни одна из этих подробностей не должна была стать достоянием общественности, и первая моя реакция – брань вполголоса в адрес Лебрана-Рено, этого молодого идиота, черт его побери. Офицер в любой ситуации должен держать язык за зубами в присутствии журналистов... но в таком деликатном вопросе... Он, вероятно, напился! Мне приходит в голову, что я должен немедленно вернуться в Париж и отправиться прямо в военное министерство. Но тут я вспоминаю про мою мать: она в этот момент наверняка стоит на коленях и молится о своей бессмертной душе – и решаю, что лучше мне не соваться.

И потому день идет, как я и планировал прежде. Я забираю мать у двух поддерживающих ее монахинь, и мы идем домой, а в полдень мой кузен Эдмон Гаст присылает экипаж, и мы едем на завтрак к нему в деревню Виль-д'Авре, что неподалеку. Там нас ждет приятное и легкое собрание членов семьи и друзей, таких друзей, которых знаешь настолько давно, что воспринимаешь их как членов семьи. Эдмон года на два младше меня, но уже занимает должность мэра Виль-д'Авре, он один из тех счастливчиков, что наделены жаждой жизни. Он фермерствует, рисует, охотится, легко зарабатывает деньги, быстро их тратит и любит жену, но это и неудивительно: Жанна такая красотка, не уступит девицам с портретов Ренуара. Я никому не завидую, но если бы и завидовал, так только Эдмону. Рядом с Жанной в столовой сидит Луи Леблуа, он учился со мной в школе, рядом с ним его жена Марта. Напротив меня – Полин Ромацотти, которая, несмотря на итальянскую фамилию, росла рядом с нами в Страсбурге, а теперь замужем за чиновником из Министерства иностранных дел, Филиппом Монье, он на восемь-десять лет старше, чем кто-либо из нас. На Полин простое серое платье с белой оборочкой, и она знает: это платье мне нравится – оно напоминает то, которое она носила, когда ей было восемнадцать.

Все за этим столом, кроме Монье, беженцы из Эльзаса, и ни у кого не находится доброго слова для нашего земляка – эльзасца Дрейфуса, даже у Эдмона, по убеждениям радикального республиканца. Мы прекрасно знаем истории про евреев, в особенности из Мюлуза, – когда

дело дошло до кризиса и им предложили выбор подданства после войны, все они предпочли Германию, а не Францию.

– Они как перекасти-поле – куда ветер дунет, туда и они, – объявляет Монье, поводя из стороны в сторону бокалом с вином. – Так их раса выживала в течение двух тысяч лет. Обвинять их в этом невозможно.

Только Леблуа позволяет себе каплю сомнения:

– Я говорю как юрист, имейте в виду. Я против закрытых судов в принципе и должен признать, что у меня возникают большие сомнения, когда я спрашиваю себя: если бы подозреваемый был христианином, ему бы тоже отказали в нормальном судебном процессе? В особенности после того, как в «Фигаро» сообщается о том, что улики против него были более чем сомнительные.

Я холодно возражаю ему:

– Дрейфусу было «отказано в нормальном судебном процессе», поскольку дело затрагивало вопросы национальной безопасности, а такие дела по определению не могут рассматриваться в обычном суде, кем бы ни был обвиняемый. И против него имеется множество улик, я могу дать в этом полную гарантию!

Полин хмурится, глядя на меня, и я понимаю, что повысил голос. Наступает молчание. Луи поправляет на себе салфетку, но ни словом мне не возражает. Он не хочет портить застолье, и Полин – жена дипломата – пользуется этой возможностью, чтобы перевести разговор на менее острую тему.

– Я вам говорила, что мы с Филиппом обнаружили новый замечательнейший эльзасский ресторан на улице Марбёф?

Домой я возвращаюсь в пять. Моя квартира находится в XVI округе, рядом с площадью Виктора Гюго. Благодаря такому адресу я кажусь гораздо умнее, чем на самом деле. А вообще-то, у меня две маленькие комнаты на четвертом этаже, и майорского жалованья даже на них едва хватает. Я не Дрейфус, чей доход в десять раз превосходит его жалованье. Но характер у меня такой, что я всегда предпочитал пусть и малое количество, но отличного качества, чем большое, но среднего. Концы с концами мне удается сводить. Почти.

Я вхожу на лестницу с улицы и не успеваю сделать и двух шагов, как слышу голос консьержки у меня за спиной.

– Майор Пикар! – Я поворачиваюсь и вижу мадам Геро, размахивающую визиткой. – К вам приходил офицер, – сообщает она, надвигаясь на меня. – Генерал!

Я беру карточку: «Генерал Шарль-Артур Гонз, военное министерство».

На обратной стороне он написал свой домашний адрес.

Он живет неподалеку от Булонского леса. Я могу дойти туда пешком. Через пять минут я звоню в его дверь. Меня встречает персона, ничуть не похожая на того человека, от которого я ушел днем в субботу. Генерал небрит, под глазами синяки. Мундир распахнут до талии, а под ним видна грязноватая нижняя рубаха. В руке у него стакан с коньяком.

– Пикар! Хорошо, что вы пришли.

– Извините, что я не в форме, генерал.

– Не имеет значения. Ведь сегодня же воскресенье?

Я иду за ним по темноватой квартире.

– Моя жена за городом, – объясняет генерал через плечо.

Я прохожу в комнату, которая, видимо, служит ему кабинетом. Над окном висят две

скрещенные пики – насколько я понимаю, это память о службе в Северной Африке, – а на каминной полке стоит его фотография, снятая четверть века назад: он тогда был младшим штабным офицером Тринадцатого армейского корпуса. Генерал пополняет свой стакан из графина, наливает и мне, потом, со стоном хлопнувшись на диван, закуривает сигарету.

– Это чертовое дело Дрейфуса, – говорит он. – Оно всех нас доконает.

– Правда? Я бы предпочел умереть более героической смертью! – даю я легкомысленный ответ.

Но Гонз смотрит на меня очень серьезным взглядом.

– Мой дорогой Пикар, вы, кажется, не понимаете: мы подошли очень близко к войне. Я сегодня не сплю с часу ночи. И все из-за этого чертова идиота Лебрана-Рено!

– Боже мой!

Я, пораженный, ставлю мой нетронутый коньяк.

– Знаю, трудно поверить, – продолжает генерал, – что подобного рода катастрофа могла стать следствием идиотского слуха, но так оно и есть.

Гонз говорит, что вскоре после полуночи его разбудил курьер из военного министерства. Его срочно вызвали во дворец де Бриенн, где он увидел Мерсье в халате с личным секретарем из Елисейского дворца, который принес экземпляры первых изданий парижских газет. Личный секретарь повторил Гонзу то, что только-только сообщил Мерсье: президент в ужасе – в ужасе! шокирован! – тем, что он прочел. Как офицер Республиканской гвардии мог распространять такие истории, а в особенности то, что некий документ был украден французским правительством из немецкого посольства и что вся эта история была задумана как некая шпионская ловушка для немцев? Знает ли военный министр, что немецкий посол днем приедет в Елисейский дворец с официальной нотой протеста из Берлина? А германский император грозит отозвать посла из Парижа, если французское правительство не заявит недвусмысленно, что оно приняло заверения правительства Германии в отсутствии сношений с капитаном Альфредом Дрейфусом? Найдите его, требует президент! Найдите этого капитана Лебрана-Рено и заткните ему глотку!

В результате генерал Артур Гонз, глава французской разведки, в возрасте пятидесяти двух лет оказался в унижительном положении: ему пришлось нанять экипаж и объезжать полковые штабы, места проживания Лебрана-Рено, публичные дома на Пигаль, и только к рассвету он нашел искомое на Мулен Руж, где молодой капитан все еще ораторствовал перед репортерами и проститутками!

В этот момент мне приходится прижать указательный палец к губам, чтобы спрятать улыбку, потому что монолог генерала не лишен комических элементов, которые кажутся тем комичнее, что произносятся хриплым и гневным голосом Гонза. Я могу только представлять себе, каково это было для Лебрана-Рено – повернуться и увидеть надвигающегося на него Гонза, представить его лихорадочные попытки протрезветь, прежде чем предстать для объяснения своих действий сначала перед военным министром, а потом и перед самим президентом Казимиром-Перье<sup>[9]</sup>, разговор с которым, вероятно, был для капитана чрезвычайно неприятным.

– В этом нет ничего смешного, майор! – Гонз таки заметил мою улыбку. – Мы сейчас не в состоянии вести войну с Германией! Если они решат воспользоваться этим случаем для нападения на нас, то один Господь Бог сможет спасти Францию!

– Конечно, генерал.

Гонз принадлежит к тому поколению, что и Мерсье с Буадефром, поколению, бывшему

во времена бойни 1870 года молодыми офицерами и так и не залечившему старые шрамы: немецкая тень до сих пор пугает их. «Трое против двоих» – вот их извечная пессимистическая мантра: «На каждых двух французов приходится три немца. В Германии тратят три франка на вооружение на каждые наших два – тот максимум, который мы можем себе позволить». Я презираю их пораженчество.

– И как реагировал Берлин? – спрашиваю я.

– Сейчас в Министерстве иностранных дел ведутся переговоры с целью выработки совместного заявления, где теми или иными словами будет сказано, что Германия не более ответственна за документы, которые им присылают, чем мы за те, которые поступают к нам.

– Они просто обнаглели!

– Я так не считаю. Они всего лишь прикрывают своего агента. Мы делаем то же самое. Но я могу вам сказать, что ситуация весь день была крайне опасная.

Чем больше я думаю об этом, тем забавнее мне представляется случившееся.

– Неужели они готовы разорвать дипломатические отношения и поставить наши страны на грань войны ради защиты одного шпиона?

– Они, конечно, смущены – их поймали за руку. Положение унижительное. Типично прусская обостренная реакция...

Рука Гонза дрожит. Он прикуривает сигарету от старой, роняет окурки в отпиленную верхушку раковины, служащую ему пепельницей, снимает несколько табачных волокон с языка, потом снова разваливается на диване, глядя на меня сквозь облачко дыма.

– Я смотрю, вы так и не прикоснулись к коньяку.

– Предпочитаю иметь ясную голову, когда разговор идет о войне.

– Ха! А мне в такие минуты как раз нужно выпить. – Генерал допивает свой коньяк и принимается крутить стакан в руке. По тому, как он поглядывает на графин, я вижу: ему отчаянно хочется налить себе еще, но он не желает выглядеть передо мной пьяницей. Гонз откашливается и говорит: – Вы, Пикар, произвели благоприятное впечатление на министра вашим поведением, пока все это длилось. И на начальника штаба. За последние три месяца вы, несомненно, приобрели ценный опыт разведывательной работы. Поэтому мы собираемся рекомендовать вас на повышение. Мы хотим предложить вам возглавить статистический отдел.

Я пытаюсь скрыть разочарование. Шпионаж – грязная работа. Все, что я увидел в деле Дрейфуса, лишь усилило мое негативное отношение к ней. Не для этого я поступал в армию.

– Но ведь у отдела уже есть весьма способный глава – полковник Сандерр, – возражаю я.

– Да, он способный. Но Сандерр – больной человек, и, между нами говоря, он вряд ли поправится. И потом, он занимает этот пост вот уже десять лет, ему нужно отдохнуть. А теперь, Пикар, простите меня, но ввиду особой секретности информации, которая будет проходить через ваши руки, я обязан задать вам этот вопрос: нет ли в вашем прошлом или частной жизни чего-то такого, что могло бы сделать вас объектом шантажа?

С нарастающим разочарованием я понимаю, что моя судьба уже решена, вероятно, это случилось предыдущим днем, когда Гонз встречался с Мерсье и Буадефром.

– Нет, – отвечаю я, – ничего такого мне про себя не известно.

– Вы, насколько я знаю, не женаты?

– Нет.

– Есть для этого какие-то особые причины?



– Я люблю одиночество. И не могу позволить себе брак – мне это не по карману.

– И это все?

– Все.

– Какие-нибудь денежные проблемы?

– Нет денег, нет и проблем, – пожимаю плечами я.

– Хорошо. – Гонз смотрит на меня с облегчением. – Значит, решено.

Но я все еще продолжаю бороться с собственной судьбой:

– Вы же понимаете, что существующие кадры не воспримут чужака... А кандидатуру заместителя полковника Сандерра вы не рассматривали?

– Он уходит в отставку.

– Или майора Анри?

– О, Анри хороший солдат. Он вскоре возьмется за работу и будет делать то, что необходимо для отдела.

– А сам он не хочет занять этот пост?

– Хочет, но ему для такой должности не хватает образования и социального лоска. Отец его жены держит ферму, кажется.

– Но я ничего не смыслю в шпионаже.

– Ну, хватит, мой дорогой Пикар! – говорит Гонз уже слегка раздраженным голосом. – Вы обладаете всеми необходимыми качествами, которые требуются для этой должности. В чем проблема? Да, официально такого подразделения не существует. Ни парадов, ни историй в газетах. Вы никому не сможете сказать, в чем состоит ваша работа. Но все важные персоны будут знать, чем вы занимаетесь. У вас будет ежедневный доступ к министру. И конечно, вас повысят в звании до полковника. – Он внимательно смотрит на меня. – Вам сколько лет?

– Сорок.

– Сорок! Да во всей армии нет ни одного человека, который в вашем возрасте получил бы такое звание. Только представьте себе: вы задолго до пятидесяти станете генералом! А после... В один прекрасный день можете стать начальником Генштаба.

Гонз прекрасно знает, как манипулировать мною. Я честолюбив – хотя и не без меры, надеюсь, – люблю, чтобы в жизни было кое-что еще, кроме армии... И все же, делая карьеру, хочу задействовать свои способности по максимуму. Я прикидываю: года два на должности, которая мне не очень по душе, а там передо мной откроются золотые перспективы. Мое сопротивление сломлено. Я сдаюсь.

– И когда это может произойти?

– Не сразу. Через несколько месяцев. Буду вам признателен, если это пока останется между нами.

– Конечно, я буду делать то, что необходимо армии, – киваю я. – Благодарен за доверие. Постараюсь его оправдать.

– Хороший человек! Не сомневаюсь в вас. А теперь я настаиваю, чтобы вы выпили коньяк, который так пока и не тронули...

Решено. Мы пьем за мое будущее. Пьем за армию. Потом Гонз провожает меня до двери, где берет меня под локоть и по-родительски пожимает. От него пахнет коньяком и сигаретным дымом.

– Я знаю, Жорж, вы считаете, что шпионаж – не солдатское дело. Но это не так. В современную эпоху это передовая. Мы должны сражаться с немцами каждый день. Они сильнее нас численно и по вооружению – «трое против двоих», не забывайте! – поэтому мы

должны превосходить их в разведке. – Генерал еще сильнее сжимает мой локоть. – Выявление предателя вроде Дрейфуса для Франции не менее важно, чем выигрыш сражения на поле боя.

На улице снова идет снег. По всему проспекту Виктора Гюго тысячи снежинок попадают в сияние газовых фонарей. На дорогу ложится белый ковер. Странно. Я должен стать самым молодым полковником во французской армии, но я не испытываю восторга.

В квартире меня ждет Полин. Она по-прежнему в том же простом сером платье, которое было на ней за вторым завтраком, чтобы я мог иметь удовольствие снять его с нее. Она поворачивается ко мне спиной, давая мне возможность его расстегнуть, обеими руками поднимает волосы, открывая доступ к верхнему крючку. Я целую ее в шею и шепчу:

– Сколько у нас есть времени?

– Час. Он думает, что я в церкви. У тебя холодные губы. Где ты был?

Я чуть не начинаю ей объяснять, но потом вспоминаю наставление Гонза.

– Нигде, – отвечаю я.

Проходит шесть месяцев. Наступает июнь. Воздух прогревается, и вскоре Париж начинает вонять дерьмом. Вонь поднимается из канализационных сетей и обволакивает город, как гнилостный газ. Люди выходят из дома, надевая матерчатые маски или прижимая к носу платки, но помогает это мало. В газетах эксперты единогласны: все не так плохо, как во время первой «великой вонии» 1880 года – про нее ничего сказать не могу – я был в то время в Алжире, – но начало лета так или иначе погублено.

«Невозможно выйти на балкон, – сетует „Фигаро“, – невозможно посидеть на открытой террасе одного из наших битком набитых веселых кафе – гордости наших бульваров, – потому что ощущение такое, будто находишься с подветренной стороны какого-то неотесанного великана».

Этот запах оседает в волосах и одежде, обосновывается в ноздрях, даже на языке, отчего все имеет вкус порчи. В такой атмосфере я вступаю в должность начальника статистического отдела.

Майор Анри, который приходит за мной в военное министерство, иронизирует по этому поводу:

– Все это ерунда. Вот выросли бы вы на ферме! Человеческое говно, поросычье – какая разница? – Его лицо в жару гладкое и упитанное, словно у большого розового ребенка. На губах постоянно подрагивает ухмылка. Он обращается ко мне, чуть акцентируя мое звание: – Полковник Пикар! – и в этом слышится одновременно уважение, поздравление и издевка.

Я не обижаюсь. Анри будет моим заместителем – компенсация за то, что его обошли, не назначили начальником отдела. С этого дня мы будем играть роли не менее древние, чем сама война. Он – опытный старый солдат, выслужившийся из рядовых, бывший старший сержант, на плечах которого вся основная нагрузка. Я более молодой офицер, теоретически глава отдела, которому нужно не позволить нанести слишком большой ущерб работе. Я думаю, если мы оба не будем перегибать палку, то отлично работаемся.

– Ну что, полковник, идем? – говорит Анри.

Я никогда прежде не был в статистическом отделе, – неудивительно, даже о его существовании знают немногие, а потому попросил Анри устроить для меня вводную экскурсию. Я жду, что мне покажут глухие закоулки министерства. Но майор проводит меня через задние ворота, а дальше по короткой дорожке до древнего, закопченного дома на углу улицы Юниверсите, мимо которого я проходил много раз, считая его заброшенным. На затененных окнах тяжелые ставни. У двери никакой таблички. Внутри в мрачном вестибюле стоит тот же липкий запах сточной канавы, что и в остальном Париже, но с добавлением затхлой сырости.

Анри проводит пальцем по наросту черных спор на стене.

– Несколько лет назад этот дом собирались снести, – говорит он. – Но полковник Сандерр остановил их. Никто не имеет права беспокоить нас здесь.

– Не сомневаюсь.

– Это Бахир. – Анри показывает на пожилого привратника-араба в синем мундире и штанах алжирского полка, он сидит на стуле в углу. – Он знает все наши секреты, правда, Бахир?

– Да, майор!

– Бахир, это полковник Пикар.

Мы входим в тускло освещенный коридор, и Анри распахивает дверь, за которой я вижу четыре-пять сомнительных личностей, которые курят трубки и играют в карты. Они поворачиваются и сверлят меня взглядом, и мне хватает времени оценить поношенный диван и стулья, драный ковер.

– Извините за вторжение, господа, – произносит Анри.

Он быстро закрывает дверь.

– Кто они? – спрашиваю я.

– Просто люди, которые работают на нас.

– И что у них за работа?

– Полицейские агенты. Информаторы. Люди с полезными навыками. Полковник Сандерр считает, что лучше держать их здесь от греха подальше, чем позволять шляться по улицам.

Мы поднимаемся по скрипучей лестнице – там, как говорит Анри, находится «внутреннее святилище». Двери закрыты, а потому в коридоре второго этажа почти нет естественного света. Здесь проведено электричество, но без малейшей попытки заделать те места, где проложены провода. Кусок лепного потолка обвалился и теперь стоит у стены.

Меня представляют личному составу сотрудников. У каждого из них собственный кабинет, и дверь во время работы заперта. Я знаколюсь с майором Кордые, алкоголиком, которого ждет скорая отставка, он сидит в рубаше и читает антисемитские газеты «Либр пароль» и «Энтрансижан» – для работы или для удовольствия, я не спрашиваю.

Есть и новенький, капитан Жюнк, которого я немного знаю: он был слушателем моих лекций в Высшей военной школе, высокий, мускулистый человек с громадными усами, на нем сейчас фартук и пара тонких перчаток. Он вскрывает стопку перехваченных писем с помощью подобия чайника, разогреваемого на газовой горелке, чтобы распарить клей на конверте. Называется это «влажное вскрытие», сообщает мне Анри.

В соседнем кабинете сидит еще один капитан – Вальдан, он использует сухой метод, скребет печати скальпелем: я смотрю несколько минут, как он проделывает крохотные отверстия по обе стороны клапана, вводит внутрь длинный, тонкий пинцет, проворачивает раз десять, свертывая письмо в цилиндр, а потом ловко вытаскивает через отверстие, не оставляя никаких следов. Наверху мсье Гриблен, паукоподобный архивист, который принес бинокль на разжалование Дрейфуса, сидит в середине большого кабинета, заполненного запертыми шкапами, он инстинктивно прячет то, что читает, когда я появляюсь. В кабинете капитана Маттона пусто: Анри объясняет, что тот уходит – работа ему не по вкусу. Наконец меня представляют капитану Лоту, которого я тоже помню по церемонии разжалования: еще один красивый светловолосый кавалерист из Эльзаса: ему за тридцать, он говорит по-немецки. Ему бы гонять в седле по пригородам Парижа, а он сидит здесь, на нем тоже фартук. Капитан горбится над столом и в сильном электрическом свете разглядывает маленькую горку разорванной в клочья писчей бумаги, перемещает клочки с помощью пинцета. Я смотрю на Анри в ожидании объяснения.

– Нам следует поговорить об этом, – отвечает он на мой взгляд.

Мы спускаемся на площадку второго этажа.

– Здесь мой кабинет. – Майор показывает на дверь, не открывая ее. – А там работает полковник Сандерр. – На его лице вдруг появляется мучительное выражение. – Вернее, работал... Полагаю, теперь это ваш кабинет.

– Что ж, мне ведь нужно где-то работать.

Чтобы попасть в кабинет, мы проходим по вестибюлю, где стоят два стула и вешалка для фуражек. Кабинет неожиданно мал и темен. Шторы на окнах задернуты. Я включаю свет. Справа от меня большой стол, слева – солидный стальной шкаф с впечатляющим замком. Посередине письменный стол, с одной стороны от него вторая дверь, ведущая в коридор, за столом – высокое окно. Я подхожу к нему, раздвигаю пыльные шторы, и передо мной неожиданно открывается вид на регулярный сад. Моя специальность – топография, то есть понимание того, где находятся предметы по отношению друг к другу, четкое определение их взаимного расположения, расстояний между ними. Тем не менее у меня уходит несколько секунд на то, чтобы понять, что я вижу сзади дворец де Бриенн и министерский сад. Никогда не видел его под таким углом.

– Бог ты мой, да я бы мог заглянуть в кабинет министра, будь у меня телескоп!

– Хотите, чтобы я вам его достал?

– Нет. – Я смотрю на Анри. Не могу понять, шутит он или нет. Поворачиваюсь к окну и пытаюсь его открыть. Ладонью несколько раз ударяю по задвижке, но та наглухо приржавела. Я уже начинаю ненавидеть это место. – Ну хорошо, – говорю я, стряхивая ржавчину с ладони. – Буду полагаться на вас, майор. Особенно несколько первых месяцев. Все это для меня в новинку.

– Естественно, полковник. Но сначала позвольте мне вручить вам ваши ключи. – Анри протягивает мне пять ключей на металлическом колечке с легкой цепочкой, чтобы можно было пристегнуть к поясу. – От входной двери. От двери вашего кабинета. От сейфа. И от вашего стола.

– А этот?

– Этот от двери дворца де Бриенн, выходящей в сад. Когда вам необходимо увидеть министра, вы пользуетесь этим ключом. Его полковнику Сандерру вручил генерал Мерсье.

– Что-то не так с парадной дверью?

– Через эту быстрее. И незаметнее.

– У нас есть телефон?

– Да. Перед кабинетом капитана Вальдана.

– А секретарь?

– Полковник Сандерр не доверял им. Если вам нужно какое-то дело, попросите Гриблена. Если нужно сделать копию, можете прибегнуть к помощи одного из капитанов. Вальдан умеет печатать на машинке.

У меня такое чувство, будто я оказался в какой-то религиозной секте, соблюдающей темные обряды. Военное министерство построено на территории, которую прежде занимал женский монастырь, и офицеров Генерального штаба на улице Сен-Доминик называют «доминиканцы» из-за их строго секретного режима. Но я уже вижу, что в статистическом отделе никаких строгостей нет.

– Вы хотели сказать мне, над чем сейчас работает капитан Лот.

– У нас есть агент в немецком посольстве. Он регулярно доставляет нам выброшенные документы, которые предназначались для сжигания в посольской печи вместе с другим мусором. Но эти документы попадают не в печь, а к нам. По большей части они разорваны, и нам приходится их восстанавливать. Тонкая работа. Лот большой умелец.

– Так вы впервые и вышли на Дрейфуса?

– Да.

– Восстановив разорванное письмо?

– Именно.

– Бог ты мой, почти из ничего! И кто этот агент?

– Мы всегда используем кодовое имя – Огюст. А продукт обозначается как «обычный маршрут».

– Хорошо, – улыбаюсь я, – спрошу иначе: кто такой Огюст? – Анри медлит с ответом, но я полон решимости выдавить из него эти сведения: если я хочу когда-либо разобраться в этой работе, то должен знать, как функционирует служба снизу доверху. И чем скорее, тем лучше. – Да ну же, майор, я ведь глава отдела. Вы должны мне сказать.

– Женщина по имени Мари Бастьян, – неохотно отвечает он. – Она работает в посольстве уборщицей. В частности, убирает кабинет немецкого военного атташе.

– И давно она работает на нас?

– Пять лет. Я ее куратор. Я плачу ей двести франков в месяц. – Анри не может противиться желанию и хвастливо добавляет: – Это крупнейшая сделка в Европе!

– Как она доставляет нам материал?

– Раз в неделю, в определенное время я встречаюсь с ней в церкви, здесь неподалеку. Иногда два раза – по вечерам, когда все успокаивается. Нас никто не видит. Я сразу же уношу материалы домой.

– Домой? – Я не могу скрыть удивления. – А это безопасно?

– Абсолютно. Там только моя жена и я. Да наш ребенок. Я просматриваю материал дома, пробегаю то, что по-французски, – немецкого я не знаю. Лот работает с немецкими документами здесь.

– Ясно. – Хотя я согласно киваю, такая процедура представляется мне абсолютной любительщиной. Но я не собираюсь устраивать выволочки в первый день работы. – У меня чувство, что мы прекрасно сработаемся, майор Анри.

– Очень на это надеюсь, полковник.

Я смотрю на часы.

– Прошу прощения, мне вскоре нужно уходить на встречу с начальником Генштаба.

– Хотите, чтобы я пошел с вами?

– Нет, – отвечаю я. И опять я не уверен, серьезно Анри говорит или шутит. – В этом нет необходимости. Он пригласил меня на второй завтрак.

– Отлично. Если я вам понадобится, я у себя в кабинете.

Наш разговор формализован, как па-де-де<sup>[10]</sup>.

Анри отдает честь и уходит. Я закрываю дверь, осматриваюсь. По коже у меня бегут мурашки – такое чувство, будто я вырядился в одежды мертвеца. На стене темные пятна – там висели фотографии Сандерра, на столе следы, оставленные его сигаретами, колечки, оставленные его чашками с кофе. Его присутствие угнетает меня. Потертости на ковре показывают, как полковник отодвигал стул. Я нахожу нужный ключ и открываю сейф. Внутри несколько десятков нераспечатанных писем, адресованных в различные места в городе на четыре или пять различных имен – предположительно псевдонимы. Насколько я понимаю, это, вероятно, отчеты агентов Сандерра, полученные уже после его ухода. Я открываю одно. «Необычная активность в районе Меца...» Закрываю его. Шпионская работа – как я ее ненавижу! Не нужно было соглашаться на эту должность. Не могу себе представить, что я когда-нибудь буду чувствовать себя здесь как дома.

Под письмами тонкий конверт с большой фотографией – двадцать пять сантиметров на

двадцать. Я тут же узнаю ее по судебным материалам Дрейфуса – копия знаменитого «бордеро»<sup>[11]</sup>, которую он приложил к передаваемым немцам документам. Это была главная улика, предъявленная ему в суде. До сегодняшнего утра я понятия не имел, как ее получил статистический отдел. И неудивительно. Не могу не восхищаться искусной работой Лота. Никто, глядя на документ, не сказал бы, что когда-то он был разорван на мелкие кусочки: все разрывы аккуратно заделаны, полное впечатление, что перед тобой цельный документ.

Я сажусь за стол, отпираю его. Несмотря на медленное прогрессирование болезни, похоже, что Сандерр покинул свое рабочее место в спешке. Кое-что там осталось. И это оставшееся перекачивается в ящиках, когда я их открываю. Кусочки мела. Шарик воска для печатей. Несколько иностранных монет. Четыре пули. И всевозможные баночки и пузырьки от лекарств: ртуть, экстракт гваяковой коры<sup>[12]</sup>, йодид калия.

Генерал Буадефр приглашает меня в «Жокей-клуб», чтобы отметить мое назначение, что весьма благородно с его стороны. Все окна закрыты, двери заперты, на всех столах стоят букеты фрезии и вазочки со сладким горошком. Но ничто не может полностью изгнать сладковато-горький запах человеческих экскрементов. Буадефр делает вид, что ничего этого не замечает. Он заказывает доброго белого бургундского и выпивает почти все, его щеки медленно багровеют. Я пью мало, и рядом с тарелкой у меня, как и подобает хорошему штабному офицеру, лежит открытый блокнот.

За соседним столиком сидит президент клуба, Состен де Ларошфуко, герцог Дудовиль. Он подходит, чтобы поздороваться с генералом. Буадефр представляет меня. Нос и скулы герцога кажутся хрупкими и бороздчатыми, как меренги, его рукопожатие подобно прикосновению истонченной кожи к моим пальцам.

За печеной форелью генерал говорит о новом царе Николае II. Буадефру важно знать о любых русских анархистских ячейках, которые могут действовать в Париже.

– Я хочу, чтобы вы на сей счет держали ухо остро. Все, что мы можем передать Москве, будет полезно для наших переговоров. – Он проглатывает кусочек рыбы и продолжает: – Союз с Россией одним дипломатическим ударом поможет преодолеть нашу слабость при конфликте один на один с Германией. Это равносильно армии в сто тысяч человек. Вот почему половину своего времени я отдаю иностранным делам. На высшем уровне грань между военными и политиками перестает существовать. Но мы не имеем права забывать, что армия всегда должна быть выше обычной партийной политики.

Это наводит Буадефра на мысль о Мерсье, который уже перестал быть военным министром, а теперь досиживает срок до пенсии в качестве командующего Четвертого армейского корпуса в Ле-Мане.

– Он оказался прав, предвидя падение президента, но ошибался, предполагая, что у него есть шанс занять президентское кресло.

Я настолько удивлен, что перестаю есть, вилка замирает у меня в руке.

– Генерал Мерсье предполагал, что может стать президентом?

– Да, он предавался такому заблуждению. Вот вам одна из проблем Республики – в монархии, по крайней мере, никто серьезно не надеется стать королем. Когда мсье Казимир Перье ушел в январе в отставку, сенат и палата депутатов собрались в Версале, чтобы выбрать его преемника, и «друзья» генерала Мерсье – назовем их деликатно таким образом – распространили листовку, призывающую их избрать человека, который передал изменника Дрейфуса в руки трибунала. И из трех сотен он получил ровно три голоса.

– Я этого не знал.

– Я думаю, это было то, что наши английские друзья называют «безнадежная попытка», – улыбается Буадефр. – Но политики, конечно, никогда его не забудут. – Он вытирает усы салфеткой. – Вам теперь придется думать чуть больше политически, полковник, если вы хотите оправдать огромные надежды, которые мы на вас возлагаем. – Я чуть наклоняю голову, словно начальник штаба вешает мне на шею награду.

– Скажите мне, что вы думаете о деле Дрейфуса? – спрашивает он.

– Отвратительное, – отвечаю я. – Низкое. Сбивающее с толку. Я рад, что оно закончилось.

– Вот только закончилось ли? Я думаю сейчас как политик, а не как военный. Евреи – самая настойчивая раса. Для них Дрейфус, сидящий на своей скале, словно больной зуб. Они одержимы этим. Они не оставят дело в покое.

– Он символ их позора. Но что они могут сделать?

– Не могу сказать. Но что-то они сделают, в этом можно не сомневаться. – Буадефр смотрит сквозь экипажи,двигающиеся по улице Рабле, и замолкает на несколько секунд. Его профиль в пахучих солнечных лучах подобен чеканке, он словно вырезан во плоти веками тщательного отбора. Мне на ум приходит статуя смиренного норманнского рыцаря, стоящего на коленях в какой-нибудь часовне в Байё. Буадефр говорит задумчиво: – Касательно того, что сказал тому молодому капитану Дрейфус об отсутствии у него мотива к предательству... Я думаю, мы должны быть готовы выступить с возражением на его слова. Я хочу, чтобы вы поддерживали это дело на плаву. Узнайте про его семью – «кормите дело», как говорил ваш предшественник. Может быть, вам удастся собрать побольше информации о мотивах, чтобы мы держали ее наготове, если понадобится.

– Да, генерал, конечно. – Я делаю запись в своем блокноте под «русскими анархистами»: «Дрейфус – мотивы».

Приносят утиный паштет, и разговор переходит на недавний немецкий морской парад в Киле.

Днем я извлекаю письма агентов из сейфа в моем новом кабинете, укладываю их в портфель и отправляюсь к полковнику Сандерру. Его адрес дает мне Гриблен – это всего в десяти минутах ходьбы, на улице Леонс-Рейно, за рекой. На звонок выходит его жена. Когда я сообщаю ей, что я преемник ее мужа на службе, она откидывает назад голову, как змея, готовящаяся к броску.

– Вы заняли его должность, мсье, что еще вы хотите от него?

– Если сейчас это неудобно, я могу зайти в другое время.

– Ах можете? Как мило с вашей стороны! Но с какой стати ему будет приятно видеть вас в любое время?

– Все в порядке, дорогая, – слышу я откуда-то из глубины квартиры усталый голос Сандерра. – Пикар – эльзасец. Впусти его.

– Хорошо, – горько произносит она, продолжая смотреть на меня, словно ее следующие слова обращены ко мне. – Ты слишком добр с этими людьми!

Тем не менее она отходит в сторону и пропускает меня.

– Я в спальне, Пикар, проходите, – слышу я голос Сандерра, иду в его направлении и оказываюсь в комнате с наглухо занавешенными окнами и запахом дезинфицирующих средств. Он в ночной рубаше, полулежит, опершись на подушки. Я вхожу, и Сандерр включает



лампу. Когда он поворачивает ко мне небритое лицо, я вижу, что оно покрыто язвами, некоторые из них свежие и влажные, другие зажившие и сухие. Я слышал, что его состояние резко ухудшилось, но понятия не имел, что до такой степени.

– На вашем месте я бы не подходил близко, – предупреждает он.

– Извините за вторжение, полковник, – говорю я, стараясь подавить отвращение, – но мне нужна ваша помощь. – Я поднимаю портфель.

– Я так и думал. – Сандерр указывает дрожащим пальцем на портфель. – Они все там? Покажите-ка мне.

Я вытаскиваю письма и подхожу к кровати.

– Насколько я понимаю, это сообщения агентов. – Я кладу письма на одеяло, чтобы он мог до них дотянуться, и отхожу. – Но я не знаю, кто они и кому из них можно доверять.

– Мой девиз: не доверять никому. Тогда вас не постигнет разочарование. – Сандерр поворачивается, чтобы взять очки с прикроватного столика. И я вижу язвы под щетиной на его челюсти и на шее, они синевато-багровой полосой проходят по шее. Он надевает очки и, прищурившись, разглядывает одно из писем. – Сядьте. Возьмите этот стул. Карандаш у вас есть? Вам нужно будет записать.

В течение нескольких следующих часов мы работаем без перерыва – Сандерр проводит со мной экскурсию по своему секретному миру: этот человек работает в прачечной, обслуживающей немецкий гарнизон в Меце; этот занимает должность в железнодорожной компании на восточной границе; это – любовница немецкого офицера в Мюлузе; это мелкий уголовник из Лотарингии, готовый по приказу ограбить любой дом; этот – пьяница; это патриотка, которая ведет хозяйство военного губернатора и в 1870 году потеряла племянника; доверяйте этому и этому; его или ее не замечайте; этому нужно немедленно дать три сотни франков; от этого нужно отказаться...

Я записываю с той скоростью, с которой говорит полковник, пока мы не просматриваем все письма. Сандерр по памяти надиктовывает мне имена других агентов и их псевдонимы, говорит, что их адреса известны Гриблену. Он начинает уставать.

– Вы хотите, чтобы я ушел? – спрашиваю я.

– Через минуту. – Сандерр с трудом поднимает руку. – Там в шифоньере пара вещей, которые вам понадобятся. – Он смотрит, как я встаю на колени, чтобы открыть дверцу. Достая сейф, очень тяжелый, и большой конверт. – Откройте их, – говорит он. Сейф не заперт. Внутри небольшое состояние из золотых монет и банкнот, в основном французские франки, но есть и немецкие марки, и английские фунты. – Там всего должно быть на сумму около сорока восьми тысяч франков. Когда деньги подойдут к концу, обратитесь к Буадефру. Мсье Палеолог из Министерства иностранных дел тоже имеет инструкции делать взносы. Используйте их для оплаты агентов, для специальных платежей. Всегда имейте достаточно денег при себе. Положите сейф в свою сумку.

Я делаю то, что он говорит, потом открываю конверт. Там около сотни листов: список имен и адресов, они аккуратно записаны, систематизированы по департаментам Франции.

– Это необходимо обновлять, – говорит полковник.

– Что это?

– Работа всей моей жизни. – Он испускает сухой смешок, который переходит в кашель.

Я переворачиваю листы. Здесь две-три сотни имен.

– Кто они?

– Подозреваемые в предательстве. В случае войны подлежат немедленному аресту.

Региональные полицейские отделения знают только имена тех, кто проживает в их юрисдикции. Есть и контрольный экземпляр, он находится у министра. Есть и более полный список – он хранится у Гриблена.

– Более полный?

– Там сто тысяч имен.

– Ничего себе списочек! – восклицаю я. – Он, должно быть, толщиной с Библию! Кто они?

– Иностранцы, которые должны быть интернированы в случае начала военных действий. И еще в него не включены евреи.

– Вы считаете, что в случае войны евреи должны быть интернированы?

– По меньшей мере их нужно обязать зарегистрироваться, ограничить комендантским часом и обязательством не покидать место жительства. – Дрожащей рукой Сандерр снимает очки и кладет их на прикроватный столик, ложится на подушку и закрывает глаза. – Моя жена очень предана мне, как вы видели... гораздо преданнее, чем было бы большинство жен в такой ситуации. Она считает мою отставку несправедливой. Но я говорю ей, что счастлив отойти на задний план. Когда я оглядываю Париж, повсюду вижу иностранцев и думаю об общем упадке нравственности и художественных стандартов – я понимаю, что больше не знаю своего города. Вот почему мы проиграли войну семидесятого года – нация перестала быть чистой.

Я начинаю собирать письма и укладывать их в портфель. Такого рода разговоры всегда утомляют меня: старики вечно сетуют, что мир катится в тартарары. Это такие банальности. Я спешу покинуть его удручающее общество. Но мне еще нужно задать ему один вопрос.

– Вы упомянули евреев, – говорю я. – Генерала Буадефра беспокоит возможное возобновление интереса к делу Дрейфуса.

– Генерал Буадефр – настоящая старуха, – говорит Сандерр таким голосом, будто сообщает о некоем известном научном факте.

– Его волнует отсутствие очевидных мотивов...

– Мотивов? – бормочет Сандерр. Его голова сотрясается на подушке – я не знаю: то ли от недоумения, то ли это следствие его болезни. – Что за чушь он несет? Какие мотивы? Дрейфус – еврей, он больше немец, чем француз! Большая часть его семьи живет в Германии! Какие еще мотивы нужны генералу?

– Тем не менее он просил меня «подкармливать дело». Именно так и сказал.

– Информации в деле Дрейфуса более чем достаточно. Семь судей пришли к такому мнению и единогласно признали его виновным. Если у вас возникнут затруднения, поговорите об этом с Анри.

С этими словами Сандерр натягивает одеяло себе на плечи и поворачивается на бок спиной ко мне. Я жду около минуты. Наконец благодарю его за помощь и прощаюсь. Если он меня и слышит, то не отвечает.

Я стою на улице близ дома Сандерра, на несколько секунд ослепленный солнечным светом после мрака его спальни с ее больничной атмосферой. Мой портфель так набит деньгами, именами предателей и шпионов, что оттягивает мою руку. Я пересекаю проспект Трокадеро в поисках экипажа, поглядываю налево, чтобы убедиться, что меня не собьет какой-нибудь лихой ездок, и в этот момент мой взгляд падает на изящный многоквартирный дом с двойными дверями и голубой табличкой рядом с номером 6. Поначалу у меня не

возникает никаких ассоциаций, но потом я вдруг резко останавливаюсь и смотрю на табличку еще раз: «Проспект Трокадеро, 6». Вспоминаю адрес – много раз видел его в бумагах. Здесь до ареста жил Дрейфус.

Я оглядываюсь на улицу Леонс-Рейно. Конечно, это совпадение, но довольно удивительное: оказывается, Дрейфус жил так близко к своему заклятому врагу, что они могли видеть друг друга из своих дверей. По меньшей мере они не раз сталкивались на улице, поскольку в одно время ходили в военное министерство и из него. Я останавливаюсь на краю тротуара, закидываю назад голову и, прикрыв глаза козырьком ладони, разглядываю великолепное здание. У каждого окна есть балкон с коваными перилами, его ширины достаточно, чтобы сидеть и любоваться Сеной, – собственность гораздо более богатая, чем у Сандерра, чей дом втиснут на узкую мощеную улочку.

Меня привлекает что-то в окне второго этажа: бледное лицо мальчика, он смотрит на меня, словно инвалид, который не может выйти из дома. К нему подходит молодая женщина с таким же бледным, как у него, лицом в обрамлении темных кудрей – вероятно, его мать. Она стоит за сыном, положив руки ему на плечи, и вместе они смотрят на меня – полковника в форме, наблюдающего за ними с улицы. Потом женщина шепчет что-то на ухо мальчику, осторожно увлекает его за собой – и они исчезают.

На следующее утро я рассказываю о странном видении майору Анри. Он хмурится.

– Окно второго этажа дома номер шесть? Вероятно, это была жена Дрейфуса и его ребенок – как его зовут? Пьер – вот как. И еще есть девочка – Жанна. Мадам Дрейфус не выпускает детей из дома, чтобы те не услышали истории про своего отца. Она сказала им, что он выполняет специальное задание за границей.

– И они ей верят?

– А почему бы им не верить? Они такие крохи.

– Откуда вы все это знаете?

– Можете не беспокоиться, мы все еще за ними приглядываем.

– И насколько плотно?

– У нас есть агент среди их слуг. Мы следим за их перемещениями. Перехватываем почту.

– Даже спустя шесть месяцев после вынесения приговора Дрейфусу?

– У полковника Сандерра была теория, что Дрейфус может оказаться частью шпионской группы. Он считал, что если мы будем вести наблюдение за семьей, то сможем выйти на других предателей.

– Но не вышли?

– Пока нет.

Я откидываюсь на стуле, разглядывая Анри. Вид у него дружелюбный, он явно не в лучшей форме, но я бы сказал, что под слоем жирка он физически силен: такие ребята могут крепко выпить в баре, умеют рассказать хорошую историю, когда в настроении. Мы полная, абсолютная противоположность друг другу.

– Вы знали, – спрашиваю я, – что полковник Сандерр живет всего в сотне метров от дома Дрейфуса?

Время от времени в глазах Анри появляются озорные искорки. Это единственная трещинка в его броне добродушия.

– Неужели так близко? Я этого не знал.

– Да, близко. Да что говорить – мне думается, они жили так близко, что непременно время от времени встречались – просто сталкиваясь на улице.

– Вполне возможно. Я точно знаю, что полковник пытался избегать Дрейфуса. Он его не любил, считал, что тот всегда задает слишком много вопросов.

«Он наверняка его не любил, – думаю я. – Еврей в роскошной квартире с видом на Сену...» Я представляю Сандерра, который в девять утра резво вышагивает к улице Сен-Доминик, а молодой капитан пытается пристроиться рядом с ним и завязать разговор. Когда я соприкасался с Дрейфусом, мне неизменно казалось, что у него не хватает некоего важного винтика, который подсказал бы ему, когда он действует людям на нервы или когда те не хотят с ним разговаривать. Нет, он был неспособен понять, какое впечатление производит на других, а Сандерр, всюду видевший заговор, даже если две бабочки сели на один цветок, все больше проникался подозрением по отношению к этому любопытному соседу-еврею.

Я открываю ящик стола и достаю разные лекарства, которые обнаружил днем ранее: две жестяные коробочки и два маленьких синих пузырька. Показываю их Анри.

– Полковник Сандерр оставил их в столе.

– Забыл. Позвольте? – Анри неуверенными пальцами берет их у меня. – Я поручу вернуть их ему.

Я не могу противиться и говорю:

– Ртуть, экстракт гваяковой коры, йодид калия... Вы ведь знаете, для лечения какой болезни обычно используются эти средства?

– Нет. Я не доктор.

Я решаю оставить эту тему.

– Мне нужен полный отчет о семье Дрейфуса – с кем встречаются, что могут сделать для помощи осужденному. Еще я хочу прочесть всю переписку Дрейфуса – что он писал с Чертова острова, что получал. Я полагаю, его переписка цензурируется и у нас есть копии.

– Естественно. Я скажу Гриблену, он все организует. – Поколебавшись немного, Анри спрашивает: – Позвольте узнать, полковник, с чего такой интерес к Дрейфусу?

– Генерал Буадефр считает, что дело может иметь политические последствия. Он хочет, чтобы мы были готовы.

– Понимаю. Немедленно займусь этим.

Он уходит с лекарствами Сандерра. Анри, несомненно, знает, от какой болезни прописывают эти лекарства: мы оба в свое время вытаскивали немало солдат из незарегистрированных борделей и знаем стандартный курс лечения. Поэтому мне остается только размышлять над тем, чем чревато наследование должности начальника секретной службы от человека, который страдает от последней стадии сифилиса, более известной как прогрессивный паралич.

В тот день я пишу мой первый секретный доклад в Генеральный штаб – «бланк», как его называют на улице Сан-Доминик. Я составляю его на основе провинциальных немецких газет и письма одного из агентов, о котором мне рассказал Сандерр: «Корреспондент из Меца сообщает, что в последние дни наблюдается повышенная активность войск в гарнизоне Меца. В городе нет ни шума, ни тревоги, но военные власти проводят интенсивные войсковые учения...»

Закончив, я перечитываю доклад и спрашиваю себя: имеет ли он какое-то значение? Соответствует ли он действительности? Откровенно говоря, у меня нет на этот счет никаких соображений. Я знаю только, что должен представлять «бланк» как минимум раз в неделю, а на первый раз ничего лучше я составить не могу. Я отправляю документ через дорогу в канцелярию Генерального штаба, готовясь к выволочкам за такую бесполезную работу. Но вместо выволочки Буадефр подтверждает получение, благодарит меня и отправляет копию главнокомандующему сухопутных войск. Могу себе представить разговор в офицерском клубе: «До меня дошли разговоры, что немцы что-то затеяли в Меце...» Теперь жизнь пятидесяти тысяч солдат на восточной границе на несколько дней станет чуть более несчастной из-за дополнительных учений и форсированных маршей.

Я получаю первый урок кабалистической власти «разведывательной службы» – сочетание слов, от которых в остальном разумный человек может сойти с ума и начать прыгать как сумасшедший.

День или два спустя Анри приводит в мой кабинет агента, чтобы ознакомить меня с ситуацией по Дрейфусу. Он представляет его как Франсуа Гене из французской уголовной полиции. Ему за сорок, кожа желтая от никотина или алкоголя. Или от того и другого. У него

манеры одновременно напористые и подобострастные, что типично для определенного типа полицейских. Мы обмениваемся рукопожатием, и я вспоминаю его по моему первому утру в отделе: он один из тех, кто сидел за столом, курил трубку и играл в карты внизу.

– Гене осуществлял наблюдение за семьей Дрейфуса, – поясняет Анри. – Насколько я понял, вы хотите узнать, как с этим обстоят дела.

– Прошу. – Я показываю на стол в углу моего кабинета, и мы рассаживаемся вокруг него. У Гене с собой папка. У Анри тоже.

– Исполняя поручение полковника Сандерра, я сосредоточил свои усилия на фигуре старшего брата предателя – Матье Дрейфусе. – Гене извлекает из папки студию фотографию и посылает ее мне по столешнице.

Матье красив, поразительно красив – ему бы нужно стать армейским капитаном, думаю я, а не Альфреду, который похож на банковского клерка.

– Объекту тридцать семь лет, – продолжает Гене, – он переехал из семейного дома в Мюлузе в Париж с единственной целью: вести кампанию в защиту брата.

– Значит, такая кампания ведется?

– Да, полковник: он пишет письма известным людям и дал знать, что готов платить хорошие деньги за информацию.

– Вы знаете – они очень богаты, – вставляет Анри. – А жена Дрейфуса и того больше. Она из семьи Адамар – торговцев бриллиантами.

– И каковы успехи брата?

– Есть один врач из Гавра, некто доктор Жибер, он старый друг президента Республики. Он с самого начала предложил ходатайствовать за Дрейфуса перед президентом Фором<sup>[13]</sup>.

– И уже ходатайствовал?

Гене просматривает свои записи.

– Доктор завтракал с президентом в Елисейском дворце двадцать первого февраля. После чего Жибер отправился прямо в отель «Л'Атене», где его ждал Матье Дрейфус – один из наших людей проследовал туда за ним из квартиры Дрейфуса.

Гене дает мне отчет агента. «Объекты сидели в фойе и вели оживленный разговор. Я расположился за соседним столиком и услышал, как Б. говорит А. следующее: „Я вам передаю слова президента – именно секретное свидетельство, предоставленное судьям, и обеспечило обвинительный приговор, а не показания в суде“. Это утверждение эмоционально повторялось несколько раз... После ухода Б. А. остался сидеть в явно возбужденном состоянии. А. оплатил счет (копия прилагается) и ушел из отеля в 9.25».

Я смотрю на Анри:

– Президент сказал о том, что судьям было предъявлено секретное свидетельство?

– Людям рты не заткнешь, – пожимает плечами Анри. – Так или иначе, когда-нибудь это должно было всплыть.

– Да, но президент... Вас это не беспокоит?

– Нет. А почему меня это должно беспокоить? Вполне законная процедура. Это ничего не меняет.

По правде говоря, у меня такой уверенности нет. Я думаю о том, как бы прореагировал на это мой друг-юрист Леблуа.

– Согласен, это не отменяет вину Дрейфуса. Но если станет широко известно, что его осудили на основании секретного свидетельства, которого не видел ни он сам, ни его адвокат, то пойдут разговоры о том, что суд был несправедливым. – Теперь я начинаю

понимать, почему Буадефр чуял неприятные политические последствия. – Мы знаем, как семья собирается воспользоваться этой информацией?

Анри смотрит на Гене, который отрицательно покачивает головой.

– Поначалу все они были очень взбудоражены. В Базеле состоялась семейная конференция. Они пригласили журналиста, еврея по имени Лазар. Он вращается в анархистских кругах. Но то было четыре месяца назад, а с тех пор они ничего больше не предприняли.

– Ну, одно они все-таки сделали, – подмигнув, говорит Анри. – Расскажите полковнику о мадам Леони – это поднимет ему настроение.

– Ах да, мадам Леони! – листая свой отчет, смеется Гене. – Она тоже друг доктора Жибера.

Он подает мне еще одну фотографию – женщина с простоватым лицом, лет пятидесяти, смотрит прямо в камеру, на голове – норманнский берет.

– И кто такая мадам Леони?

– Ясновидящая.

– Вы серьезно?

– Совершенно! Она впадает в ясновидческий транс и сообщает Матье факты по делу его брата, говорит, что получает их из мира духов. Матье познакомился с мадам Леони в Гавре, и она произвела на него такое впечатление, что он привез ее в Париж. Предоставил комнату в своей квартире.

– Вы себе можете такое представить?! – раздражается смехом Анри. – Они же блуждают в потемках! Нет, полковник, этих людей мы можем не опасаться.

Я кладу фотографии Матье Дрейфуса и мадам Леони рядом и чувствую, как во мне нарастает беспокойство. Столоверчение, гадание, общение с мертвыми – все это очень модно в Париже сегодня. Иногда культурный уровень сограждан может вводить в отчаяние.

– Вы правы, Анри. Даже если они обнаружили, что существовал некий секретный документ, они все равно не смогут ничего добиться. Нам нужно только принять меры, чтобы так оно и оставалось. – Я обращаюсь к Гене: – Как вы осуществляете наблюдение?

– Наблюдение за ними очень плотное, полковник. Нянька мадам Дрейфус ежедневно докладывает нам. Консьерж в доме Матье Дрейфуса на улице Шатодан – наш информатор. У нас есть и еще один информатор – горничная его жены. Кухарка Матье и ее жених тоже держат ухо востро. Куда бы он ни пошел – за ним следуют наши люди. Почтовые власти переправляют все семейные почтовые отправления сюда, и мы снимаем с них копии.

– А здесь письма самого Дрейфуса. – Анри поднимает папку, которую принес, и передает мне. – Это нужно вернуть к завтрашнему дню.

Папка завязана на черные тесемки, на ней стоит официальная печать Министерства колоний. Я развязываю ее, открываю. Некоторые из писем оригинальные – те, что цензор решил не пропускать, а потому они и остались в министерстве, другие – копии отцензурированных писем. «Моя дорогая Люси, я и в самом деле спрашиваю себя, стоит ли мне жить дальше...» Я откладываю письмо, беру другое. «Мой дорогой, бедный мой Фред, как больно мне было расставаться с тобой...» Меня потрясают эти слова. Трудно думать об этом неуклюжем, неловком, неприветливом человеке как о «Фреде».

– С этого дня я хочу иметь копии всех писем, как только они попадают в Министерство колоний.

– Да, полковник.

– А вы, мсье Гене, должны продолжать наблюдение за семьей. Пока их возбуждение не выходит за рамки ясновидения, мы можем быть спокойны. Однако как только оно выйдет за эти рамки, нам, возможно, придется поломать головы. И не выпускайте из поля зрения факты, которые могут навести нас на дополнительные мотивы предательства Дрейфуса.

– Да, полковник.

На этом разговор заканчивается.

В конце дня я кладу папку с перепиской в свой портфель и беру ее домой.

Время дня еще теплое, золотое. Моя квартира находится достаточно высоко, и городские шумы в нее почти не проникают, а то, что доходит, глушится стенами, вдоль которых стоят книжные шкафы. Главный предмет в комнате – пианино «Эрар»<sup>[14]</sup>, вывезенное из руин Страсбурга и каким-то чудом уцелевшее, его подарила мне мать. Я сажусь на кресло и стаскиваю сапоги. Закуриваю сигарету и смотрю на портфель, стоящий на рояльном табурете. Я должен переодеться и снова уйти из дома. А портфель оставить до возвращения. Но мое любопытство берет верх.

Я сажусь за крохотный секретер между двумя окнами и достаю папку. Первым в ней лежит письмо из военной тюрьмы Шерш-Миди<sup>[15]</sup>, датированное 5 декабря 1894 года, когда со дня ареста Дрейфуса прошло более семи недель. Оно аккуратно скопировано цензором на линованную бумагу.

*Моя дорогая Люси!*

*Наконец я могу написать тебе несколько слов. Мне только что сказали, что мой процесс состоится 19-го числа этого месяца. Видеться с тобой мне не разрешают.*

*Не буду писать тебе обо всем, что мне довелось пережить, в мире не найдется достаточно сильных слов, чтобы передать это.*

*Ты помнишь, я тебе говорил, как мы были счастливы? Жизнь нам улыбалась. Но потом раздался страшный удар грома, раскаты которого все еще звучат в моем мозгу. Меня обвинили в самом страшном преступлении, какое может совершить солдат! Даже сейчас я думаю, что стал жертвой какого-то ужасного кошмара...*

Я переворачиваю страницу и быстро пробегаю строки до конца:

*Обнимаю тебя тысячу раз, я так тебя люблю, так обожаю. Тысяча поцелуев детям. Не отваживаюсь спрашивать тебя о них.*

*Альфред*

Следующее письмо – снова копия – написано из камеры две недели спустя, на следующий день после вынесения приговора:

*Моя обида так велика, мое сердце так отравлено ядом, что я бы уже распрощался с жизнью, если бы меня не останавливали мысли о тебе, если бы мою руку не сдерживал страх причинить тебе еще большую боль.*



А потом копия письма Люси, написанного на Рождество:

*Живи ради меня, умоляю тебя, мой дорогой друг, собери все силы и борись – мы будем бороться вместе, пока виновник не будет найден. Что станет со мной без тебя? Ничто не будет связывать меня с миром...*

Мне неловко читать все это. Я словно слушаю, как пара занимается любовью в соседней комнате. Но в то же время я не могу остановиться. Я пропускаю несколько писем, пока не нахожу описание церемонии разжалования. Когда он пишет о «презрительных взглядах, которыми смотрят на меня мои бывшие товарищи», мне приходит в голову, что он имеет в виду и меня:

*Их чувства легко понять, на их месте я бы тоже не скрывал презрения к офицеру, в чьем предательстве не сомневался бы. Но, увы, в том-то вся и горечь: предатель есть, но это не я...*

Я останавливаюсь, закуриваю еще одну сигарету. Верю ли я в его заявления о невинности? Ни на секунду. Я еще не встречал в жизни ни одного негодяя, который не настаивал бы с такой же искренностью, что он жертва судебной ошибки. Похоже, это свойство – неотъемлемая часть криминального образа мышления: чтобы выжить в заключении, ты должен каким-то образом убедить себя в собственной невинности. С мадам Дрейфус дело другое, я ей сочувствую. Она полностью доверяет мужу... даже больше, она преклоняется перед ним, словно он святой мученик.

*Твое достойное поведение произвело сильное впечатление на многие сердца, и когда настанет час оправдания, а он настанет непременно, всплывет воспоминание о страданиях, которые ты перенес в тот страшный день, ведь оно запечатлелось в памяти людей...*

Я с неохотой отрываюсь от чтения. Запираю папку в секретере, бреюсь, переодеваюсь в чистую парадную форму и отправляюсь в дом моих друзей – графа и графини Комменж.

Я познакомился с Эмери де Комменжем, бароном де Сен-Лари в Тонкине, где мы оба служили более десяти лет назад. Я был штабным офицером, а он был младше по возрасту и по званию – всего еще младшим лейтенантом. Два года мы сражались с вьетнамцами в дельте Красной реки, страдали бездельем у Сайгона и Ханоя, а когда вернулись во Францию, наша дружба расцвела. Он представил меня родителям и младшим сестрам – Дейзи, Бланш и Изабель. Все три молодые женщины были незамужними, пылкими и очень музыкальными. Постепенно образовался круг лиц, состоящий из них, их друзей и тех армейских товарищей Эмери, которые проявляли интерес к музыке или ради встреч с сестрами просто делали вид, что проявляют.

Этот кружок существует уже шесть лет, и вот на один из таких музыкальных вечеров я и отправляюсь сегодня. Как и обычно, ради поддержания формы – в той же мере, что и ради экономии, – я иду пешком, а не беру экипаж и иду быстро, потому что уже опаздываю. Семейный дворец Комменжей, древний и массивный, находится на бульваре Сен-Жермен. Он заметен издали по каретам и экипажам, которые привезли гостей. Внутри мне по-

приятельски отдаёт честь и пожимает руку Эмери, который теперь в звании капитана служит в военном министерстве. Потом я целую его жену Матильду, чья семья Вальднер фон Фройндштайн – одна из старейших в Эльзасе. Матильда теперь – уже больше года после смерти старого графа – хозяйка в доме.

– Идите навстречу, – положив пальцы на мой рукав, шепчет она. – Начинаем через несколько минут. – У Матильды свой – и довольно неплохой – способ изображать очаровательную хозяйку: даже самое банальное замечание она произносит так, будто делится с вами сокровенной тайной. – И вы непременно останетесь на обед, правда, мой дорогой Жорж?

– Спасибо, с удовольствием.

Вообще-то, я рассчитывал уйти пораньше, но подчиняюсь без возражений. Сорокалетние холостяки – заблудшие коты общества. Нас принимают в домах, кормят, вокруг нас суетятся, а в ответ на это ждут, что мы будем удивляться, любезно потакать нередкой назойливости – «Так когда же вы наконец женитесь, Жорж?» – и всегда принимать приглашения на обед для создания впечатления многолюдности, даже если нас приглашают в последний момент.

Я прохожу в дом и слышу обращенный ко мне крик Эмери:

– Тебя Бланш ищет!

И почти сразу же я вижу его сестру – она пробирается ко мне по заполненному залу. В ее платье и соответствующей причёске множество перьев, выкрашенных в темно-зеленый, малиновый и золотой цвета.

– Бланш, – говорю я, когда она целует меня, – вы похожи на особо сочного фазана.

– Я надеюсь, сегодня вы будете добрым богом, – щебечет она, – и не противным, потому что я приготовила для вас милый сюрприз.

Бланш берет меня под руку и ведет к саду – в сторону, противоположную общему потоку. Я оказываю символическое сопротивление.

– Кажется, Матильда приглашает нас всех наверх...

– Не глумитесь! Семи еще нет! – Бланш понижает голос: – Как, по-вашему, это немецкая штучка?

Она подводит меня к стеклянной двери, открывает ее на крохотную полоску сада, отделенную от соседей высоченной стеной, увешанной незажженными китайскими фонариками. Официанты собирают оставленные бокалы с оранжадом<sup>[16]</sup> и ликерами. Все уже ушли наверх. Осталась только одна женщина, и когда она поворачивается, я вижу Полин. Она улыбается.

– Ну, – произносит Бланш со странным надрывом в голосе, – видите? Сюрприз!

Концерты всегда устраивает Бланш. Сегодня она представляет свое последнее открытие, молодого каталонского гения мсье Казальса<sup>[17]</sup>. Ему всего восемнадцать. Она нашла его в театральном оркестре Фоли-Марины, где он был второй виолончелью. Музыкант начинает с сонаты для виолончели Сен-Санса, и с первых аккордов становится ясно, что он чудо. Обычно я сижу и восторженно слушаю музыку, но сегодня чувствую себя рассеянным. Я оглядываю публику – люди сидят у стен большого зала лицом к исполнителям в центре. Среди приблизительно шестидесяти слушателей я насчитываю с десяток военных форм, в основном это кавалеристы, как Эмери, половина из них прикреплены к Генеральному штабу. По прошествии некоторого времени мне начинает казаться, что я и сам привлекаю косые

взгляды: самый молодой полковник в армии, холостяк, сидит рядом с привлекательной женой видного чиновника из Министерства иностранных дел, а ее мужа и следа нет. Если полковник, занимающий такую должность, будет уличен в адюльтере, разразится скандал, который может погубить его карьеру. Я пытаюсь выкинуть эти мысли из головы и сосредоточиться на музыке. Но чувствую себя неловко.

В антракте мы с Полин возвращаемся в сад, Бланш идет между нами, держа нас под руки. Ко мне подходят два офицера, мои старые приятели, поздравляют меня с повышением, и я представляю их Полин.

– Майор Альбер Кюре – мы с ним и с Эмери служили в Тонкине. А это мадам Монье. Капитан Уильям Лаллеман де Марэ...

– Известный также как Полубог, – вставляет Бланш.

Полин улыбается:

– Почему?

– В честь Полубога огня Логе из «Золота Рейна», конечно. Вы должны заметить сходство, моя дорогая. Посмотрите на эту страсть! Капитан Лаллеман – Полубог, а Жорж – Добрый Бог.

– К сожалению, я плохо знаю Вагнера.

Лаллеман, самый увлеченный ученик в нашем музыкальном кружке, напускает на себя вид шокированного неверия.

– Плохо знаете Вагнера! Полковник Пикар, вы должны пригласить мадам Монье в Байройт!<sup>[18]</sup>

– А мсье Монье любит оперу? – слишком уж многозначительно спрашивает Кюре.

– К сожалению, мой муж не любит музыку ни в каких формах.

Когда они отходят в сторону, Полин вполголоса спрашивает у меня:

– Хочешь, чтобы я ушла?

– Нет. С чего бы мне этого хотеть?

Мы пьем оранжад. Великая вонь сошла в последние дня два. Ветра из Сен-Жерменского предместья теплы и благоухают ароматами летнего вечера.

– Но тебе неловко, мой дорогой.

– Нет, просто я не знал, что вы с Бланш знакомы, только и всего.

– Изабель взяла меня на чай с Алис Токнэ месяц назад, там мы и познакомились.

– А где Филипп?

– Его сегодня нет в Париже. Вернется только завтра.

Скрытый смысл, невысказанное предложение повисают в воздухе.

– А девочки? – Дочерям Полин десять и семь лет.

– За ними присматривает сестра Филиппа.

– Ага, теперь я понимаю, что имела в виду Бланш, говоря «сюрприз»! – Я не знаю, то ли мне смеяться, то ли раздражаться. – Почему ты решила довериться ей?

– Я не доверялась. Я решила, это ты.

– Не я!

– Но по тому, как она говорила, у меня возникло впечатление, что это ты, – отвечает Полин. – Поэтому я и позволила ей устроить эту нашу встречу. – Мы смотрим друг на друга. А потом с помощью интуиции и дедукции, за быстротой которых я не успеваю уследить, она говорит: – Бланш в тебя влюблена.

– Ничего не влюблена! – издаю я встревоженный смешок.

– Тогда у тебя был с ней роман?

– Моя дорогая Полин, она на пятнадцать лет моложе меня. – Я лгу. А что еще должен делать джентльмен в таких ситуациях? – Я для нее как старший брат.

– Но Бланш не сводит с тебя глаз. Она одержима тобой, а теперь еще догадалась про нас.

– Если бы Бланш была в меня влюблена, – тихо говорю я, – вряд ли она стала бы устраивать нашу ночь вдвоем.

Полин улыбается и качает головой:

– Именно так она и поступила бы. Если тебя она не может заполучить, то будет удовлетворяться контролем над той, которая тебя заполучила.

Мы оба инстинктивно оглядываемся, не видит ли нас кто-нибудь. Слуга обходит гостей и шепотом сообщает, что концерт вот-вот должен продолжиться. Сад начинает пустеть. Драгунский капитан останавливается на пороге и оборачивается на нас.

– Давай уйдем сейчас, – вдруг говорит Полин, – до начала второй части. Не будем оставаться на обед.

– Оставим два пустых места, на которые все обратят внимание? С таким же успехом можно дать объявление в «Фигаро».

Нет, тут ничего не поделаешь, придется вынести вечер до конца. Струнный квартет во второй половине, два бисирования, потом шампанское, неторопливые прощания тех, кого не пригласили на обед, но кто надеется на изменение приговора в последнюю минуту. На протяжении всего этого времени мы с Полин тщательно избегаем друг друга, а это первый признак пары, имеющей тайный роман.

За стол мы садимся после десяти. Нас шестнадцать человек. Я сижу между вдовствующей матерью Эмери, вдовой-графиней, – она сплошь гофрированный черный шелк и мертвенно-бледная кожа, словно призрак из «Дон Жуана», – и сестрой Бланш Изабель, недавно вышедшей замуж за члена невероятно богатой банкирской семьи, владельцев одного из пяти крупнейших виноградников в Бордо. Она с видом знатока говорит об апелласьонах и гранд крью<sup>[19]</sup>, но для меня это чистая тарабарщина – я ничего не понимаю. Я испытываю некое странное, чуть ли не пьянящее чувство разобщенности: умный разговор – всего лишь набор звуков, музыка – просто скрежет и звон струн и проводов. Я смотрю на дальний конец стола, где Полин слушает мужа Изабель, банкира, молодого человека, чья родословная придала ему внешность столь утонченную, что он напоминает созревший плод. В мерцании свечи я перехватываю взгляд Бланш, она смотрит на меня из-под своего птичьего плюмажа – женщина, которой пренебрегли. Я отворачиваюсь. Наконец в полночь мы поднимаемся.

Я спешу покинуть дом прежде Полин, чтобы соблюсти приличия.

– Вы – коварная женщина, – говорю я Бланш у двери и грожу ей пальцем.

– Спокойной ночи, Жорж, – печально отвечает она.

Я иду по бульвару, смотрю, не появится ли белый огонек экипажа, направляющегося на стоянку у Триумфальной арки. Мимо проносятся множество красных и желтых фонарей, но наконец появляется белый, и когда я выхожу на мостовую, чтобы остановить его, и стук копыт замедляется и смолкает при остановке, Полин уже присоединяется ко мне. Я беру ее под руку, помогаю сесть в экипаж и говорю извозчику:

– Улица Ивон-Вилларсо, угол улицы Коперник.

После этого сажусь сам. Полин позволяет мне поцеловать ее, потом отталкивает меня.

– Нет, мне нужно знать, что это такое было.

– А может, не нужно? Ты уверена?

– Уверена.

Я вздыхаю и беру ее за руку:

– Бедняжка Бланш просто очень несчастна в любовных делах. Если в доме появляется человек, совсем ей неподходящий или для нее недоступный, можно быть уверенным, что Бланш в него влюбится. Года два назад случился громкий скандал, его удалось замять, но семье это стоило большого конфуза, в особенности Эмери.

– Почему в особенности Эмери?

– Потому что объектом ее любви был офицер Генерального штаба – старший офицер, недавно овдовевший, гораздо старше Бланш, – а в дом его привел и познакомил с Бланш именно Эмери.

– И чем все закончилось?

Я достаю портсигар, предлагаю Полин. Она отказывается. Я закуриваю. Мне неловко говорить об этом, но я думаю, Полин имеет право знать, и я ей доверяю – сплетен она распространять не будет.

– У нее был роман с этим офицером, который продолжался некоторое время. Может быть, около года. Потом Бланш влюбилась в другого человека, молодого аристократа ее лет, более подходящего для нее. Молодой человек сделал ей предложение. Семья была счастлива. Бланш попыталась разорвать связь с офицером. Но он не соглашался. Вскоре отец Эмери, старый граф, начал получать письма от шантажиста, который угрожал сообщить о романе его дочери. В конце концов граф пошел в префектуру полиции.

– Боже мой, настоящая бальзаковская история!

– Гораздо занятнее. В какой-то момент граф заплатил пятьсот франков за возвращение особенно скандального письма, которое Бланш написала вдовцу-любовнику и которое, предположительно, оказалось в руках некой таинственной женщины. Эта женщина должна была прийти в парк в вуали и вернуть письмо. Полиция занялась расследованием, и шантажистом оказался сам вдовый офицер.

– Да? Я в это не верю! И что с ним случилось?

– Ничего. У него хорошие связи. Ему позволили продолжать карьеру. Он по-прежнему в Генеральном штабе. В звании полковника.

– И как к этому отнесся жених Бланш?

– Он разорвал с ней все отношения.

Полин сидит, откинувшись на спинку сиденья, обдумывая услышанное.

– Мне остается только пожалеть ее.

– Бланш бывает глуповата, но у нее удивительно доброе сердце. И она по-своему одаренная.

– Как зовут того полковника? Я хочу отвесить ему пощечину, если когда-либо увижу его.

– Ты не забудешь его имя, если хоть раз услышишь, – Арман дю Пати де Клам. Он всегда носит монокль. – Я чуть было не добавляю любопытную подробность: именно он был старшим офицером, участвовавшим в расследовании дела Дрейфуса, но решаю промолчать. Это секретная информация, к тому же Полин начала тереться щекой о мое плечо, и уже совсем другие чувства начинают одолевать меня.

Кровать у меня узкая, солдатская. Чтобы не свалиться с нее, мы лежим в объятиях друг друга, наши обнаженные тела ласкает теплый ночной воздух. В три ночи дыхание Полин замедляется, становится размеренным, поднимается из каких-то мягких глубин сна. У меня

же сна ни в одном глазу. Я смотрю над ее плечом на открытое окно и пытаюсь представить нас в браке. Если бы мы были мужем и женой, случались бы у нас когда-нибудь такие ночи? Разве не осознание их мимолетности придает этим мгновениям такую исключительную остроту? А меня при мысли о постоянном спутнике всегда охватывает ужас.

Я осторожно выпутываю руку из-под ее руки, нащупываю ногами коврик и поднимаюсь с кровати.

В гостиной ночное небо дает мне достаточно света, чтобы не заблудиться. Я надеваю халат, зажигаю газовую лампу на секретере, отпираю ящик и достаю папку с перепиской Дрейфуса. Моя любовница спит, а я возобновляю чтение с того места, где остановился.

События четырех месяцев после разжалования легко прослеживаются по письмам, которые разложены каким-то бюрократам в строго хронологическом порядке. Десять дней спустя посреди ночи Дрейфуса вывели из камеры парижской тюрьмы, заперли в вагоне для осужденных на Орлеанском вокзале, после чего поезд отправился по занесенным снегом полям к Атлантическому побережью. На вокзале в Ла-Рошели Дрейфуса поджидала толпа. Весь день они барабанили в стенки вагона, выкрикивали угрозы и оскорбления: «Смерть еврею!», «Иуда!», «Смерть предателю!». И только с наступлением темноты охрана рискнула его вывести. Нелегко ему пришлось.

*Тюрьма на острове Ре*

*21 января 1895 года*

*Моя дорогая Люси!*

*На днях, когда меня оскорбляли в Ла-Рошели, я хотел сбежать от стражников, выйти беззащитным к тем, для кого я стал объектом негодования, и сказать им: «Не оскорбляйте меня. Моя душа, которая вам неведома, ничем не запятнана, но если вы считаете, что я виновен, возьмите мое тело, я отдаю его вам без сожаления». Потом, под воздействием физической боли я бы, вероятно, закричал: «Да здравствует Франция!», и, может быть, они поверили бы в мою невиновность!*

*Но о чем я прошу денно и ночью? О правосудии! Правосудии! У нас девятнадцатый век или мы вернулись на сто лет назад? Неужели отсутствие вины не может быть признано в век просвещения и правды? Пусть они ищут. Я не прошу о снисхождении, я прошу только о правосудии, на которое имеет право каждое человеческое существо. Пусть они продолжают поиски. Пусть те, кто имеет в своих руках мощные средства расследования, направят их на этот объект. Это их священный долг гуманизма и правосудия...*

Я перечитываю последний абзац. В нем есть что-то странное. Я понимаю, что делает Дрейфус. На первый взгляд – пишет жене. Но, зная, что его слова по пути пройдут через множество рук, он, кроме того, отправляет послание тем, кто решает его судьбу в Париже. Фактически мне, хотя он никогда бы и подумать не мог, что я буду сидеть за столом Сандерра. «Пусть те, кто имеет в своих руках мощные средства расследования...» Это никак не воздействует на мою убежденность в его вине, но дает повод для размышления: этот парень явно не собирается сдаваться.

*Париж*

*Январь 1895 года*

*Фред, дорогой мой!*

*К счастью, я не читала вчерашних утренних газет – мои домочадцы пытались скрыть от меня сообщение о постыдной сцене в Ла-Рошели, чтобы я не сошла с ума от отчаяния...*

Следующим лежит письмо от Люси министру с просьбой разрешить ей посетить мужа

на острове Ре<sup>[20]</sup>, чтобы попроситься с ним. Разрешение получено 13 февраля при условии строжайших ограничений, которые здесь же и приводятся. Заключение во время свидания стоит в одном конце комнаты между двумя охранниками, мадам Дрейфус сидит в другом конце рядом с третьим охранником, между ними стоит директор тюрьмы, они не должны говорить о чем бы то ни было, связанном с процессом, между ними не должны иметь место физические контакты.

На письме от Люси, предлагающем связать ей руки за спиной, если ей позволят подойти к мужу чуть ближе, наложена резолюция «отказать».

Люси от Фреда: *«Те несколько мгновений, что я провел с тобой, были полны для меня радости, хотя я и не смог сказать тебе всего, что было у меня на сердце»* (14 февраля).

Фреду от Люси: *«Какие чувства, какое жуткое потрясение мы оба испытали, снова увидев друг друга, в особенности ты, мой бедный любимый муж»* (16 февраля).

Люси от Фреда: *«Я хотел рассказать тебе о том, как восхищаюсь твоим благородным характером, твоей восхитительной преданностью»* (21 февраля).

Несколько часов спустя Дрейфуса провели на палубу военного корабля «Сен-Назер», отправившегося к побережью Южной Америки.

До этого времени почти все письма в папке были копиями, предположительно потому, что оригиналы дошли до адресатов. Но после большинство страниц, которые я переворачиваю, написаны рукой Дрейфуса. Его описания путешествия – в неотопливаемой каюте-камере на верхней палубе, подверженной воздействию всех стихий, по бурному океану, где бушуют зимние шторма, под дневным и ночным наблюдением вооруженных охранников, которые отказываются говорить с ним, – были задержаны цензорами Министерства колоний. На седьмой день потеплело. Но Дрейфус так и не знал пункта назначения, и никому не разрешалось сообщать ему об этом. Он предположил, что его везут в Кайенну. На пятнадцатый день путешествия он написал Люси, что корабль встал наконец на якорь близ «трех небольших горбов скал и растительности, посреди безбрежного океана»: Иль-Рояль, острова Святого Иосифа и самого маленького: Чертова острова. К своему удивлению, Дрейфус обнаружил, что последний предназначен только для него.

*Дражайшая Люси... Моя дорогая Люси... Люси, дорогая моя... Дорогая жена... Я люблю тебя... Я тоскую по тебе... Я думаю о тебе... Я шлю тебе эхо моей бесконечной любви...*

Столько эмоций, времени, энергии, потраченной в надежде на какое-то общение, и все оказалось похороненным в этой папке! Но, прочитывая все более отчаянные сетования, я думаю: может, оно и к лучшему, что Люси не читает их, не знает о том, что «Сен-Назер» бросил якорь в тропиках, а ее мужу пришлось провести четыре дня взаперти в металлической коробке под немилосердным солнцем без позволения выйти на палубу. Или о том, что, когда Дрейфуса наконец высадили на Иль-Рояль – пока на Чертовом острове уничтожали прежний лепрозорий и готовили обиталище для узника, – то заперли его в помещении с закрытыми ставнями и целый месяц не выпускали оттуда.

*Моя дорогая!*

*Наконец после тридцати дней строгого заключения за мной пришли, чтобы перевести меня на Чертов остров. Днем я могу ходить в пространстве нескольких*



*сотен квадратных метров, а за мной, не отставая ни на шаг, следуют охранники с винтовками. Вечером, с шести часов, меня запирают в моей лачуге в четыре квадратных метра с железными решетками, через которые охранники всю ночь наблюдают за мной. Мой рацион состоит из половины буханки хлеба в день и трехсот граммов мяса три раза в неделю, а в остальные дни консервированный бекон. Для питья у меня есть вода. Я должен собирать дрова, разводить костер, готовить себе еду, стирать свою одежду и стараться высушить ее в этом влажном климате.*

*Спать я не могу. Эта клетка, перед которой все время ходит охранник, словно призрак из моих сновидений, мука, которую доставляют мне насекомые, облепившие меня, боль моего сердца – все это делает сон невозможным.*

*Сегодня утром был ливень. Когда он ненадолго прекратился, я обошел ту маленькую часть острова, что отведена мне. Голое место. Тут есть несколько банановых деревьев и кокосовых пальм, почва сухая и повсюду торчат базальтовые породы. А еще этот беспокойный океан, который завывает и плещется у моих ног!*

*Я много думал о тебе, моя дорогая жена, и о наших детях. Не знаю, доходят ли до тебя мои письма. Какое печальное и жуткое мучение для нас обоих, для всех нас! Охранникам запрещено говорить со мной. Дни проходят без единого слова. Моя изоляция настолько полная, что мне иногда кажется, будто я похоронен заживо.*

Люси разрешено писать при условии строгих ограничений. Она не может упоминать дело Дрейфуса и любые события, с ним связанные. Ей сказано приносить все письма в Министерство колоний до 25-го числа каждого месяца. Письма там аккуратно копируются и прочитываются соответствующими чиновниками как Министерства колоний, так и военного министерства. Копии передаются также майору Этьену Базери, начальнику шифровального бюро в Министерстве иностранных дел, и тот проверяет, не содержат ли они зашифрованных посланий. Майор Базери просматривает также письма Дрейфуса, адресованные Люси. Из сопроводительных бумаг я вижу, что первая партия писем достигла Кайенны в конце марта, но была возвращена в Париж для повторной проверки. И только 12 июля, после четырехмесячного молчания, Дрейфус наконец получил весточку из дома.

*Мой дорогой Фред!*

*Не могу передать тебе печаль и горе, которые я чувствую по мере того, как ты все больше и больше удаляешься от меня. Мои дни проходят в тревожных размышлениях, мои ночи – череда пугающих снов. И только дети с их милыми повадками и чистой невинностью душ напоминают мне о моем долге, о том, что я не имею права раскисать. И тогда я собираюсь с силами и отдаю все сердце их воспитанию, как того всегда хотел ты, следую твоим добрым советам и пытаюсь вложить ростки благородства в их сердца, чтобы, вернувшись, ты нашел детей достойными своего отца и такими, какими воспитал бы их ты сам.*

*С моей непреходящей любовью, мой дражайший муж,*

*твоя преданная*

Больше в папке нет никаких документов. Я кладу последний лист и прикуриваю сигарету. Чтение настолько захватило меня, что я не заметил, как наступил рассвет. Я слышу, как у меня в спальне двигается Полин. Я захожу в мою крохотную кухню, чтобы приготовить кофе, а когда возвращаюсь с двумя чашками, она уже одета и что-то ищет.

– Я не буду, – рассеянно говорит она при виде кофе, – спасибо. Мне пора, но я потеряла чулок. Ах, вот он!

Полин находит чулок и наклоняется за ним. Ставит ногу на стул и наматывает белый шелк на ступню, затем плавными движениями дальше – на лодыжку.

Я смотрю на нее.

– Ты просто сошла с картины Мане – «Нана утром».

– Разве Нана не шляха?

– Только с точки зрения буржуазной морали.

– Да, ведь я носитель буржуазной морали. И ты тоже. И большинство твоих соседей, что в данный момент важнее всего. – Полин надевает туфли, разглаживает на себе платье. – Если я уйду сейчас, они, возможно, не заметят меня.

Я беру ее жакет, помогаю надеть.

– По крайней мере, подожди – я оденусь и отвезу тебя домой.

– А это разве не легкомысленно? – Полин берет сумочку. Ее веселость раздражает меня. – Пока, дорогой, – говорит она. – Напиши мне поскорее. – С мимолетным поцелуем она выходит за дверь и исчезает.

Я прихожу на службу очень рано, предполагая, что в здании еще никого нет. Но Бахир, который дремлет на своем стуле, просыпается, когда я встряхиваю его, и говорит, что майор Анри уже у себя. Я поднимаюсь по лестнице, иду по коридору, стучу в его дверь и вхожу, не дожидаясь ответа. Мой заместитель склонился над столом с увеличительным стеклом и пинцетом, перед ним лежат разные документы. Он поднимает удивленный взгляд. В очках, повисших на кончике его вздернутого носа, он кажется неожиданно старым и уязвимым. Анри, видимо, чувствует то же самое, во всяком случае, он их быстро снимает и встает.

– Доброе утро, полковник. Вы сегодня ни свет ни заря.

– И вы тоже, майор. Я начинаю думать, что вы здесь живете! Это нужно вернуть в Министерство колоний. – Я даю ему папку с перепиской Дрейфуса. – Я все прочитал.

– Спасибо. И что вы об этом думаете?

– Степень цензуры исключительная. Не уверен, что имеет смысл так радикально ограничивать возможность переписки.

– Вот как! – ухмыляется на свой манер Анри. – Вероятно, у вас более сострадательное сердце, чем у остальных.

Я не заглядываю эту наживку.

– Это не так. Если мы позволим мадам Дрейфус сообщать мужу, чем она занимается, это избавит нас от необходимости выяснять это самим. А если ему позволить больше говорить о его деле, то он может совершить ошибку и проговориться, и тогда мы узнаем что-нибудь новое. В любом случае если уж мы подслушиваем, то уж пусть они говорят что-нибудь.

– Я передам это.

– Пожалуйста. – Я смотрю на его стол. – А что это у вас?

– Последние сведения от агента Огюста.

– Когда вы их получили?

– Два дня назад.

Я разглядываю несколько разорванных бумажек.

– Что-нибудь интересное?

– Есть кое-что.

Письма разодраны в клочья размером с ноготь: немецкий военный атташе полковник Максимилиан фон Шварцкоппен предусмотрительно рвет документы на мелкие кусочки. Но с его стороны глупо не понимать, что единственный надежный способ избавиться от документа – сжечь его. Анри и Лот большие умельцы в деле соединения клочков с помощью полосок прозрачной клейкой бумаги, которая позволяет минимизировать разрывы. Дополнительный слой придает документам необычную структуру и жесткость. Я переворачиваю их. Они на французском, а не на немецком и полны романтических подробностей:

*Мой милый обожаемый друг... мой очаровательный лейтенант... мой новобранец... мой Макси... я твоя... навсегда твоя... вся твоя, тысячи поцелуев... твоя навсегда.*

– Насколько я понимаю, это не от кайзера. А может, и от него.

– Наш очаровательный «полковник Макси», – ухмыляется Анри, – завел роман с замужней женщиной, что очень глупо для человека его положения.

На секунду я думаю, что эта колючка нацелена в меня, но когда кидаю взгляд на Анри, вижу, что он смотрит не на меня, а на письмо и на лице у него выражение блудливого удовольствия.

– Я думал, что Шварцкоппен гомосексуал, – говорю я.

– Для него что мужья, что жены – все равно.

– Кто она?

– Подписывается «мадам Корне», но это выдуманное имя. Она использует адрес своей сестры. Но мы уже пять раз проследили Шварцкоппена, когда он отправлялся на их маленькие свидания, и идентифицировали ее как жену советника голландского посольства. Ее зовут Эрманс де Веде.

– Красивое имя.

– Для красивой женщины. Тридцать два года. Три маленьких ребенка. Он определенно любвеобилен, этот галантный полковник.

– И сколько это длится?

– С января. Мы вели за ними наблюдение во время их второго завтрака в «Тур д'Аржан», после чего они сняли номер в отеле наверху. Мы также засекли их во время прогулки на Марсовом поле. Он беспечен.

– Для нас это представляет такой интерес, что мы тратим ресурсы, проводя наблюдение за мужчиной и женщиной, которые завели интрижку?

Анри смотрит на меня как на слабоумного:

– Ведь полковник подставляется под шантаж.

– С чьей стороны?

– С нашей. С любой. Вряд ли он хочет, чтобы о его интрижке стало известно всем.

Мысль о том, что мы можем шантажировать немецкого военного атташе его связью с женой высокопоставленного голландского дипломата, кажется мне призрачной, но я помалкиваю.

– И вы говорите, что эта партия документов поступила два дня назад?

– Да, я работал над ними дома.

За этим следует пауза, во время которой я взвешиваю, что мне следует сказать.

– Мой дорогой Анри, – осторожно начинаю я, – я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, но мне представляется, что столь ценные документы должны сразу же попадать в отдел. Представьте, какие будут последствия, если немцы узнают, что мы делаем!

– Документы все время были у меня на виду, полковник, заверяю вас.

– Дело не в этом. Такой порядок неприемлем. В будущем я хочу, чтобы все материалы от Огюста поступали прямо ко мне. Они будут находиться у меня в сейфе, и я сам решу, за какие ниточки тянуть и кто это станет делать.

Лицо Анри пунцовеет. Как это ни удивительно, но такой крупный и крепкий человек, кажется, готов расплакаться.

– Полковника Сандерра мои методы устраивали.

– Полковник Сандерр здесь больше не работает.

– При всем уважении, полковник, вы новичок в этом деле...

– Хватит, майор. – Я поднимаю руку. Надо остановить его сейчас. Отступить нельзя. Если я не возьму бразды правления в свои руки сейчас, то уже не смогу это сделать никогда. – Должен напомнить вам, что это армия и ваша обязанность – подчиняться моим приказам.

Анри становится по стойке смирно, как заводной игрушечный солдатик:

– Слушаюсь, полковник!

Как в кавалерийской атаке, я использую набранную скорость.

– Есть и несколько других изменений, которые я хочу внести, раз уж мы заговорили об этом. Я не хочу, чтобы информаторы и другие сомнительные личности ошивались здесь внизу. Они должны приходить, когда мы их вызываем, а потом немедленно уходить. Мы должны ввести систему пропусков, и наверх будут подниматься только те, кому это разрешено. Кроме того, этот Бахир безнадежен.

– Вы хотите избавиться от Бахира? – спрашивает он недоуменным тоном.

– Нет, пока мы не найдем для него какого-нибудь другого занятия. Я считаю, что мы не должны бросать старых товарищей. Но давайте оборудуем входную дверь электрической системой, чтобы при каждом открытии звонил звонок. Тогда, если Бахир уснул – а он спал, когда я пришел, – мы, по крайней мере, будем знать, что кто-то вошел в здание.

– Да, полковник. Это все?

– Пока все. Соберите материалы Огюста и принесите в мой кабинет.

Я поворачиваюсь на каблуках и выхожу, не закрывая дверь. И это я тоже хочу изменить, думаю я, шагая по коридору в свой кабинет: эту проклятую вороватую культуру, когда каждый в своем кабинете. Я пытаюсь распахивать двери по обе стороны, но все они заперты. Усевшись за свой стол, я кладу перед собой лист бумаги и пишу жесткий меморандум, устанавливающий новые правила, – для прочтения всеми моими офицерами. Еще я пишу записку генералу Гонзу с просьбой предоставить статистическому отделу новые помещения в здании министерства или по меньшей мере сделать ремонт в существующих. Закончив, я чувствую себя лучше. Мне кажется, что я наконец вступил в должность.

Позднее тем же утром Анри приходит ко мне, как я и просил, и приносит самые последние документы от Огюста. Я готов к дальнейшему сопротивлению и исполнен решимости не уступать. Хотя его опыт чрезвычайно важен для нормального функционирования отдела, если до этого дойдет, то я готов перевести его в другое подразделение. Но, к моему удивлению, Анри податлив, как стриженный барашек. Сообщает, сколько он уже реконструировал и сколько еще осталось, вежливо предлагает показать мне, как склеиваются клочки. Чтобы повеселить его, я делаю попытку, но работа слишком тонкая и требует немало времени, и потом, каким бы нужным для нас ни был агент Огюст, моя обязанность – руководить целым отделом. Я повторяю свою позицию: я должен первым просматривать материалы, остальное готов оставить ему и Лоту.

Анри благодарит меня за откровенность, и в последующие месяцы между нами воцаряется мир. Он весел, умен, дружески расположен и предан, по крайней мере в лицо. Иногда я выхожу из моего кабинета в коридор и вижу, как он тихо о чем-то разговаривает с Лотом и Жюнком. То, что они сразу же потом расходятся, не оставляет сомнений: разговаривают они обо мне. Как-то раз я задерживаюсь перед дверью Гриблена, чтобы переложить бумаги в папку, которую возвращаю в архив, и отчетливо слышу голос Анри: «Мне невыносимо терпеть то, что он считает себя гораздо умнее всех нас!» Но я не уверен, что он имеет в виду меня... Впрочем, даже если и имеет, я готов закрывать на это глаза. Разве есть такой начальник, за спиной которого подчиненные не выражают недовольство, в особенности если он пытается руководить жестко и эффективно?

В течение конца лета, осенью и зимой 1895 года я занимаюсь тем, что осваиваю самую суть моей работы. Я узнаю, что, когда у агента Огюста появляются материалы, она подает знак, выставляя утром на балконе своей квартиры на улице Сюркуф цветочный горшок. Это означает, что она будет в базилике Святой Клотильды в девять часов вечера. Я вижу возможность расширить мой опыт.

– Я бы хотел сегодня сам забрать материалы, – заявляю я Анри как-то октябрьским днем. – Чтобы почувствовать, как это работает.

Он, в буквальном смысле плотая возражения, отвечает:

– Хорошая мысль.

Вечером я переодеваюсь в гражданское, беру портфель и иду в базилику неподалеку – громадную фабрику предрассудков в псевдоготическом стиле с двумя шпилями. Я хорошо знаю эту церковь с тех времен, когда здесь был органистом Сезар Франк<sup>[21]</sup> и я бывал на его концертах. Я появляюсь там с большим запасом времени и следую инструкциям Анри. Захожу в пустой придел, направляюсь к третьему спереди ряду скамей, перемещаюсь на три места влево от прохода, опускаюсь на колени, беру лежащий там молитвенник и вкладываю между его страниц двести франков. Потом возвращаюсь к заднему ряду и жду. Поблизости никого нет, никто меня не видит, но если бы и видел, то я похож на замученного чиновника, который по пути со службы домой зашел сюда, чтобы спросить совета у Создателя.

И хотя то, что я делаю, совершенно безопасно, сердце мое колотится. Смешно! Может быть, дело в мерцающих свечах и запахе благовоний или же в эхе шагов и шепоте из громадного нефа. Как бы то ни было, я, хотя и давно отошел от веры, чувствую нечто сакральное в том, что этот обмен происходит в священном месте. Я поглядываю на часы: без десяти девять, девять, пять минут десятого, двадцать минут десятого... Возможно, она не придет? Могу себе представить вежливые выражения сочувствия от Анри завтра утром, если

я ему скажу, что агент Огюст не пришла.

Но ровно перед половиной десятого тишина нарушается – у меня за спиной раздается щелчок открываемой двери. Коренастая женская фигура в черной юбке и шали движется мимо. Пройдя половину прохода, она останавливается, крестится, кланяется в сторону алтаря, а потом направляется прямо к оговоренному месту. Я вижу, как она становится на колени. Менее чем через минуту агент Огюст поднимается и шагает назад по проходу в мою сторону. Я не свожу с нее глаз – мне любопытно знать, как она выглядит, эта мадам Бастьян, простая уборщица, но в то же время, вероятно, самый ценный секретный агент во Франции, да и во всей Европе. Она долго и пристально смотрит на меня – видимо, удивлена тем, что видит не майора Анри на том месте, где сижу я. И я отмечаю, что в ее сильных, почти мужских чертах нет ничего простого, вижу вызов в ее глазах. Она храбра, может, даже бесшабашна, но иначе и быть не может – только человек с таким характером и способен в течение пяти лет под носом у охраны похищать секретные документы из немецкого посольства.

Как только она уходит, я встаю и направляюсь к тому месту, где оставил деньги. Анри настоятельно мне советовал сделать это сразу же. Под сиденье засунут бумажный пакет конусной формы. Он подозрительно шуршит, когда я вытаскиваю его и кладу в свой портфель. В спешке покидаю базилику, спускаюсь по ступеням, широко шагаю по темным и пустым улицам к министерству. Через десять минут после извлечения пакета я, довольный успехом, вываливаю его содержимое на стол в моем кабинете.

Здесь больше, чем я ожидал увидеть: настоящий мусорный рог изобилия: разорванная помятая бумага, пыльная от сигаретного пепла, – бумага белая и серая, кремовая и голубая, тонкая и плотная, мелкие клочки и большие фрагменты, записи чернильные и карандашные, напечатанные на машинке и в типографии, слова французские, немецкие и итальянские, железнодорожные билеты и корешки билетов театральных, конверты, приглашения, ресторанные счета и квитанции от портных, кучеров, сапожников... Я запускаю во все это руки, приподнимаю и позволяю стекать между пальцев. Конечно, по большей части это мусор, но где-то, может быть, и мелькнет алмаз. Я испытываю нервное возбуждение первопроходца.

Моя работа начинает мне нравиться.

Я дважды пишу Полин, но с осторожностью – на тот случай, если Филипп вскрывает ее письма. Она не отвечает, а я не пытаюсь отыскать ее, чтобы выяснить, не случилось ли чего из-за того, что у меня нет времени. Субботние вечера и воскресенья мне приходится отдавать матери, чья память все ухудшается, а в будние дни я допоздна задерживаюсь на работе. Столько всего приходится держать в поле зрения. Немцы прокладывают телефонные линии вдоль нашей восточной границы. В нашем посольстве в Москве есть человек, подозреваемый в шпионаже. Поступают сообщения, что английский агент предлагает копию нашего мобилизационного плана тому, кто заплатит больше... Мне нужно регулярно писать «бланки». Свободного времени нет.

Я по-прежнему хожу на приемы в доме де Комменжей, но «ваша милая мадам Монье», как называет ее Бланш, больше не появляется, хотя Бланш и говорит, что каждый раз непременно ее приглашает. После одного из концертов я зову Бланш на обед в «Тур д'Аржан», где нас сажают за столик у окна, выходящего на Сену. Почему я выбираю именно этот ресторан? С одной стороны, он недалеко от дома де Комменжей. Но еще мне

любопытно узнать, куда полковник фон Шварцкоппен приглашает свою любовницу. Я оглядываю зал – здесь почти одни пары. Кабинеты, в которых мерцают свечи, предназначены для уединения – «я твоя... навсегда твоя... вся твоя...». Последний отчет агента полиции описывает Эрманс как «невысокую блондинку лет тридцати с небольшим, в юбке кремового цвета и жакете с черной оторочкой». «Иногда их руки не видны над столом».

– Ты чему улыбаешься? – спрашивает Бланш.

– Я знаю одного полковника, который приводит сюда любовницу. А потом они снимают номер наверху.

Бланш впивается в меня взглядом, и в этот момент все между нами решается. Я обращаюсь к метрдотелю, который говорит:

– Мой дорогой полковник, конечно, номера есть.

После обеда не улыбчивый молодой человек проводит нас наверх и, не говоря ни слова благодарности, принимает крупные чаевые.

Позднее Бланш спрашивает:

– Как по-твоему, когда лучше заниматься любовью – до обеда или после?

– Есть доводы «за» и «против» для одного и другого. Я думаю, вероятно, лучше до.

Я целую ее и встаю с постели.

– Я согласна. Давай в следующий раз сделаем это до.

Ей двадцать пять. Если Полин в сорок раздевается в темноте и стыдливо прикрывается простыней или полотенцем, то обнаженная Бланш вытягивается на спине в электрическом свете, курит сигарету, сгибает левую ногу в колене, кладет на нее правую, рассматривает свои неровные пальцы. Потом выкидывает в сторону руку и стряхивает пепел в приблизительном направлении пепельницы.

– Но вообще-то, – говорит она, – правильный ответ – и до, и после.

– «И до, и после» не может быть, моя дорогая, – поправляю ее я: учитель во мне не умирает. – Потому что это противоречило бы логике вопроса. – Я стою у окна, завернувшись в штору, словно в тогу, и смотрю на остров Сен-Луи за набережной. Мимо скользит судно, оставляя глянцевый след в черной воде, его палуба освещена, словно для гулянья, но пуста. Я пытаюсь сосредоточиться на этом мгновении, отложить его в памяти на тот случай, если кто-нибудь спросит меня: «Когда ты был удовлетворен?» Тогда я мог бы ответить: «Был у меня как-то вечер с одной девушкой в „Тур д'Аржан“...»

– Правда ли, что Арман дю Пати принимал какое-то участие в деле Дрейфуса? – спрашивает вдруг Бланш с кровати у меня за спиной.

Мгновение замирает, исчезает. Мне не нужно поворачиваться. Я вижу отражение Бланш в стекле окна. Ее правая нога по-прежнему согнута дугой.

– Где ты об этом слышала?

– Эмери говорил что-то такое сегодня. – Она быстро перекачивается на бок и гасит сигарету. – А в таком случае этот несчастный еврей, безусловно, окажется невиновным.

Я впервые слышу, чтобы кто-то говорил о невиновности Дрейфуса. Ее легкомыслие потрясает меня.

– Это не предмет для шуток, Бланш.

– Дорогой, я и не шучу. Я говорю абсолютно серьезно. – Она взбивает подушку и ложится на спину, сцепив руки под головой. – Мне и тогда казалось странным – то, как с него публично срывали знаки различия, а потом отправили на необитаемый остров. Все это как-то уж слишком. Я должна была догадаться, что за этим стоит Арман дю Пати. Он может

одеваться как армейский офицер, но под его мундиром бьется сердце романтической писательницы.

– Должен склониться перед твоим знанием того, что происходит под его мундиром, дорогая! – смеюсь я. – Но получилось так, что я знаю больше тебя о деле Дрейфуса, и поверь мне, в этом расследовании, кроме твоего бывшего любовника, принимали участие многие другие офицеры.

Я вижу в стекле, как она надувает губы: не любит, когда ей напоминают о том провале вкуса, каким стал ее роман с дю Пати.

– Жорж, ты там у окна похож на Иова. Будь Добрым Богом и вернись в постель...

Тот разговор с Бланш немного беспокоит меня. Крохотное зернышко... нет, я не могу назвать это сомнением – скажем, любопытства поселяется во мне. И не столько в том, что касается вины Дрейфуса, а в том, что касается его наказания. Почему, задаю я себе вопрос, мы настаиваем на таком идиотском заключении на крохотном острове, с четырьмя или пятью охранниками, повязанными молчанием? Какую политику мы проводим? Сколько чиновничьего времени – включая и мое – отдается бесконечному администрированию, наблюдению, цензурированию, которых требует содержание Дрейфуса под стражей?

Я держу эти мысли при себе, а тем временем проходят недели и месяцы. Я продолжаю получать отчеты от Гене, осуществляющего наблюдение за Люси и Матье Дрейфус. Результаты ноль.

Я читаю их письма заключенному:

*Мой дорогой, прекрасный муж, сколько бесконечных часов, сколько мучительных дней провели мы с того времени, когда эта катастрофа обрушилась на нас...*

Читаю его ответы, которые по большей части не доставляются:

*Ничто так не угнетает, ничто так не истощает сердце и ум, как это долгое выматывающее молчание, когда ты не слышишь человеческой речи, не видишь ни одного дружеского лица или хотя бы капли сочувствия...*

Я также получаю копии регулярных докладов от чиновников Министерства колоний в Кайенне, которые ведут наблюдение за здоровьем и душевным состоянием заключенного:

*Заключенному был задан вопрос о его самочувствии. «В настоящий момент хорошо, – ответил он. – Вот только душа у меня болит. Ничего...» После этого он потерял самообладание и рыдал четверть часа. (2 июля 1895)*

*Заключенный сказал: «Полковник дю Пати де Клам перед моей отправкой из Франции обещал навести справки по моему делу. Я и представить себе не мог, что это так затянется. Надеюсь, что они вскоре закончат». (15 августа 1895)*

*Не получив писем от семьи, заключенный заплакал и сказал: «Вот уже десять месяцев, как живу в ужасе». (31 августа 1895)*

*Заключенный внезапно разрыдался и сказал: «Долго это не может продолжаться – сердце мое разорвется от горя». Заключенный всегда плачет, получая письма. (2 сентября 1895)*



*Заклученный сегодня несколько часов просидел неподвижно. Вечером он жаловался на сильные сердечные боли, сопровождаемые приступами удушья. Он попросил дать ему средство, чтобы он мог покончить с жизнью, когда терпеть станет невыносимо. (13 декабря 1895)*

Постепенно за зиму я прихожу к выводу, что на самом деле мы все же проводим определенную политику по отношению к Дрейфусу, хотя мне никто и не растолковал ее ни на словах, ни на бумаге. Мы ждем, когда он умрет.

5 января 1896 года наступает первая годовщина разжалования Дрейфуса. В прессе об этом почти ничего не пишут. Нет никаких писем или петиций, демонстраций в его поддержку или против него. Он сидит там на этой скале, кажется, все про него забыли. Наступает весна. Я вот уже восемь месяцев возглавляю статистический отдел, и все спокойно.

Но вот как-то одним мартовским утром майор Анри просит меня принять его. Глаза у него красноватые и опухшие.

– Мой дорогой Анри, – говорю я, отодвигая в сторону дело, которое читал. – Вы здоровы? Что случилось?

Он стоит перед моим столом.

– Боюсь, но мне придется просить внеочередной отпуск, полковник. У меня семейное несчастье.

Я прошу его закрыть дверь и сесть.

– Могу я вам чем-нибудь помочь?

– Тут, к сожалению, никто не в силах помочь, полковник. – Анри сморкается в большой белый платок. – У меня умирает мать.

– Я вам искренне сочувствую. С ней кто-нибудь есть? Где она живет?

– В Марне. Маленькая деревенька, называется Поньи.

– Вы должны немедленно ехать к ней. Во времени я вас не ограничиваю. Пусть Лот и Жюнк возьмут на себя вашу работу. Это приказ. У всех нас только одна мать.

– Вы очень добры, полковник. – Анри встает и отдает честь. Мы обмениваемся теплым рукопожатием. Я прошу его выразить почтение его матери от моего имени. Он уходит, а я пытаюсь представить себе, как она может выглядеть – жена фермера-свиновода в долине Марна с ее шумным сыном-солдатом. Думаю, жизнь ее была нелегка.

Мой заместитель отсутствует около недели. Но вот как-то ближе к концу дня раздается стук в мою дверь и появляется Анри с очередным конусом из оберточной бумаги – новая поставка от агента Огюста.

– Извините, что беспокою вас, полковник. Спешу между двумя поездами. Хотел передать вам это.

Я сразу же чувствую по весу, что бумаг сегодня больше обычного. Анри замечает мое удивление.

– К сожалению, из-за матери я пропустил предыдущую встречу, – признается он, – а потому договорился с Огюстом, чтобы она сделала закладку сегодня в дневное время для разнообразия. Я сейчас прямо оттуда. Мне нужно возвращаться в Марн.

Я сдерживаюсь, чтобы не сделать ему выговора. Я ведь приказал ему передать его обязанности Лоту и Жюнку – закладку вполне мог взять и кто-то другой. И сделать это, как обычно, в темное время суток, когда меньше риска засветиться нашему агенту. И потом, в разведке существует золотое правило – как он сам не раз мне говорил: чем скорее принимается к сведению информация, тем больший от нее эффект. Но у Анри такой измученный вид, он почти не спал всю неделю, что я проглатываю замечание, просто желаю ему счастливого пути и запираю конус у себя в сейфе, где он и остается, пока капитан Лот не приходит на следующее утро.

Мои отношения с Лотом никак не продвинулись с первого дня: они служебные, но прохладные. Он всего года на два моложе меня, довольно умен, выходец из Эльзаса, а потому говорит по-немецки – нам бы следовало лучше ладить, чем теперь. Но в его светловолосой привлекательности и прямой осанке есть что-то прусское, и это мешает мне проникнуться к нему симпатией. Однако Лот эффективный офицер, а скорость, с которой он восстанавливает документы, просто феноменальна, а потому я, принеся конус в его кабинет, как всегда вежлив:

– Будьте добры, займитесь этим сейчас.

– Слушаюсь, полковник.

Лот надевает фартук, и пока он достает коробку с инструментом из шкафа, я высыпаю содержимое конуса ему на стол. Мой взгляд мгновенно выхватывает среди серого и белого несколько голубых фрагментов, словно просветы неба среди туч в пасмурный день. Я трогаю один-два фрагмента указательным пальцем – они чуть толще обычной бумаги. Лот подхватывает один пинцетом, рассматривает, поворачивая то одной, то другой стороной в свете мощной электрической лампы.

– «Пти блю»<sup>[22]</sup>, – бормочет он, используя жаргонное выражение для открытки пневматической телеграммы. Потом смотрит на меня и хмурится. – Ключки мельче обычного.

– Посмотрите, что с этим можно сделать, – говорю я.

Часов через пять ко мне в кабинет заходит Лот. В руках у него тонкая папка из оберточной бумаги. Он обеспокоенно морщится, протягивая мне папку. Все его поведение какое-то тревожное, неловкое.

– Я думаю, вы должны взглянуть, – произносит он.

Я открываю папку – внутри лежит «пти блю». Лот мастерски склеил телеграмму. Ее текстура напоминает мне нечто восстановленное археологом: фрагмент разбитой посуды, может быть, плитку из голубого мрамора. Справа у бланка несколько острых зубцов – отсутствующие фрагменты, а линии разрывов напоминают венозную сетку. Но послание на французском читается без проблем:

МСЬЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО Я ЖДУ БОЛЕЕ ПОДРОБНОГО  
ОБЪЯСНЕНИЯ, ЧЕМ ТО, ЧТО ВЫ МНЕ ДАЛИ НА ДНЯХ  
ПО РАССМАТРИВАЕМОМУ ДЕЛУ. Я ПРОШУ ВАС  
ПРЕДСТАВИТЬ ЕГО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, ЧТОБЫ Я МОГ  
РЕШИТЬ, СТОИТ ЛИ МНЕ ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛА С ДОМОМ Р.  
С.

Я в недоумении смотрю на Лота. Судя по его поведению, когда он вошел, я ждал чего-то сенсационного. Прочитанный текст, кажется, никак не оправдывает его возбужденного состояния.

– «С.» означает Шварцкоппен?

– Да, это его предпочтительное кодовое имя. Посмотрите с другой стороны.

На обратной стороне паутинка крохотных полосок прозрачной клейкой бумаги, которая удерживает открытку. Но написанное опять абсолютно разборчиво. Под печатным словом «ТЕЛЕГРАММА» и над словом «ПАРИЖ» в пространстве для адреса написано:

*Майор Эстерхази,*

Имя мне не знакомо. Но несмотря на это, я потрясен, словно прочел имя старого друга в некрологе.

– Поговорите с Грибленом, – обращаюсь я к Лоту. – Пусть проверит, есть ли майор Эстерхази во французской армии.

Существует все же маленькая надежда, что, судя по имени, он может оказаться австро-венгерским офицером.

– Я это уже сделал, – отвечает Лот. – Майор Шарль Фердинанд Вальсен-Эстерхази числится в семьдесят четвертом пехотном полку.

– В семьдесят четвертом? – Я все еще не могу понять, что к чему. – У меня есть приятель в этом полку. Они расквартированы в Руане.

– Руан? «Дом Р.»? – Лот смотрит на меня, его светло-голубые глаза расширяются от волнения, потому что все это теперь указывает в одном направлении. Он переходит на шепот: – Это означает, что есть и другой предатель?

Я не знаю, что ответить. Снова разглядываю семь строк послания. Я восемь месяцев читаю записки и черновики Шварцкоппена и теперь знаком с его почерком, а этот правильный и строгий шрифт не похож на тот, каким пишет он. Напротив, почерк слишком правильный и строгий, чтобы быть обычным. Такие буквы можно увидеть на официальном приглашении, похоже, почерк изменен намеренно. Оно и понятно, думаю я: если ты офицер иностранной державы и держишь связь с агентом с помощью открытой почты в стране потенциального противника, то ты должен принять хотя бы минимальные меры, чтобы скрыть свою руку. Тон послания раздраженный, властный, взволнованный: он подразумевает кризис в отношениях. Трубы пневматической связи, проложенные по сточной системе Парижа, могут доставить телеграмму с такой скоростью, что через час или два она уже будет в руках у Эстерхази. Но риск все же существует, и, вероятно, поэтому Шварцкоппен, аккуратно написав свое послание – и потеряв пятьдесят сантимов на покупку бланка, – все же решает не отправлять его, рвет на кусочки и бросает в корзинку для мусора.

– Это послание явно имеет высокую степень важности. Если он не отправил его телеграммой, то каким образом?

– Может, у него был еще один бланк, – предполагает Лот. – Письмо?

– Остальные материалы вы просмотрели?

– Нет еще. Занимался этой «пти блю».

– Хорошо. Просмотрите их, может быть, там обнаружится еще какой-нибудь черновик.

– А что будем делать с этой пневматической телеграммой?

– Предоставьте это мне. И никому о ней не говорите. Ясно?

– Да, полковник! – Лот отдает честь.

Он уходит, а я говорю ему вслед:

– Да, вы хорошо поработали.

После ухода Лота я встаю у окна и смотрю на министерскую резиденцию по другую сторону сада. Я вижу свет в кабинете министра. Можно легко пройти к нему и сообщить о нашем открытии. По меньшей мере я мог бы встретиться с генералом Гонзом, моим непосредственным начальником. Но я знаю: сделай я так – и я потеряю контроль над расследованием, которое еще и начаться-то не успело, мне не позволят и шага ступить без

предварительной консультации. И потом, возникает опасность утечки. Пусть наш подозреваемый всего лишь скромный майор в третьеразрядном полку в гарнизонном городке, но Эстерхази – имя звучное в Центральной Европе, может быть, кто-то в Генеральном штабе сочтет своим долгом предостеречь семью. Поэтому пока будет разумно придержать информацию.

Я возвращаю «пти блю» в папку и запираю в своем сейфе.

На следующий день Лот снова заходит ко мне. Он работал вчера допоздна и склеил черновик еще одного письма. К сожалению, как это нередко случается, Огюст не смогла собрать все клочки – отсутствуют слова, даже целые куски предложений. Я читаю, а Лот смотрит на меня.

*Для доставки консьержем*

*Мсье!*

*Сожалею, что не мог поговорить лично... о деле, которое... Мой отец только что... средства, необходимые для продолжения... на оговоренных условиях... Я объясню вам его резоны, но должен начать с откровенных слов о том... ваши условия неприемлемы для меня и... результаты, которые... путешествия. Он предлагает мне... поездку, относительно которой мы могли бы... мои отношения... для него до настоящего времени несоизмеримо... я потратил на путешествия. Суть в том... поговорить с вами как можно скорее.*

*С этим письмом я возвращаю вам наброски, которые вы передали мне на днях: это старые варианты.*

*С.*

Я несколько раз перечитываю документ. Несмотря на пробелы, суть ясна. Эстерхази передавал информацию немцам, включая и наброски, за которые ему платил Шварцкоппен. И теперь «отец» немецкого атташе – предположительно, так он называет какого-то генерала в Берлине – говорит, что цена за те разведсведения, которые они получают, слишком высока.

– Конечно, это может оказаться ловушкой, – говорит Лот.

– Да. – Я уже думал об этом. – Если Шварцкоппен обнаружил, что мы читаем его мусор, то почему бы ему не воспользоваться этим знанием против нас? Он вполне может сбрасывать в корзинку для мусора сфальсифицированный материал, чтобы направить нас по ложному следу.

Я закрываю глаза и пытаюсь представить себя на его месте. Мне представляется маловероятным, чтобы человек, столь беззаботный в любовных делах, столь небрежный в работе с документами, вдруг стал бы таким изобретательным.

– Трудно представить, чтобы он вдруг пошел на это... – размышляю я вслух. – Помните, как резко реагировали немцы, когда мы раскрыли, что они использовали Дрейфуса? Зачем Шварцкоппену еще один досадный шпионский скандал?

– Все эти бумаги не являются уликами, полковник, – заявляет Лот. – Мы никогда не сможем использовать этот документ или «пти блю» как повод для ареста Эстерхази, потому что ни то ни другое ему не было отправлено.

– Это верно. – Я открываю сейф, извлекаю оттуда тонкую папочку, кладу в нее к «пти

блю» черновик письма. На папке я пишу «Эстерхази». Вот он, парадокс мира шпионажа, думаю я. Эти документы имеют смысл только в том случае, если знаешь, откуда они. Но так как их источник не может быть раскрыт – поскольку это означало бы провал для нашего агента, – то в юридическом смысле они бесполезны. Я не хочу показывать бумаги военному министру или начальнику Генерального штаба из опасения, что кто-либо из младших офицеров увидит их и пойдут слухи: то, что они восстановлены из мусора, слишком очевидно. – Есть ли возможность, – спрашиваю я у Лота, снова извлекая из папки «пти блю», – сфотографировать это так, чтобы не были заметны места склейки и все выглядело так, будто мы перехватили их в почте, как это случилось с документом Дрейфуса?

– Попробую, – с сомнением в голосе отвечает он. – Но тот документ был собран всего из шести кусков, а здесь их около сорока. И даже если мне удастся, сторона с адресом, а это самая важная часть документа, не франкирована<sup>[23]</sup>, и любой, кто подержит ее в руках полминуты, поймет, что она не была доставлена.

– Может, нам удастся ее франкировать? – предлагаю я.

– Не могу вам сказать.

Сомнение на лице Лота еще сильнее.

– Хорошо. – Я решаю не нажимать. – Пока о существовании этих документов никто, кроме нас двоих, не должен знать. А мы тем временем займемся Эстерхази и попытаемся найти еще какие-то свидетельства против него.

Я вижу, что Лота по-прежнему что-то мучает. Он хмурится, жует губы. Кажется, он собирается сделать какое-то замечание, но потом решает не делать его.

– Жаль, что майор Анри не на месте, а в отпуске, – вздыхает он.

– Не беспокойтесь, – заверяю я его. – Анри вскоре вернется. А пока по этим документам будем работать мы вдвоем.

Я отправляю телеграмму моему старому приятелю по Тонкину Альберу Кюре, майору Семьдесят четвертого пехотного полка в Руане, сообщая, что буду в тех краях на следующий день, и спрашиваю, не могу ли повидаться с ним. Получаю ответ из одного слова: «Рад».

На следующее утро я рано съедаю второй завтрак на вокзале Сен-Лазар и сажусь на поезд в Нормандию. Несмотря на серьезность моей миссии, я чувствую прилив восторга, когда кончаются окраины и мы выезжаем на открытую местность. Я впервые за несколько недель оторвался от моего стола. Стоит весенний день. Я еду. Мой закрытый портфель рядом со мной, а сельский пейзаж проплывает за окном, словно пасторальная картина: коричневые и белые коровы, похожи на лоснящиеся свинцовые игрушки в сочных зеленых лугах, невысокие серые норманнские церкви и деревни с красными крышами, ярко раскрашенные баржи в тихих каналах, песчаные дорожки и высокие живые изгороди, только-только покрывающиеся листьями. Это Франция, за которую я сражаюсь, пусть хотя бы и соединением бумажных клочков из мусорной корзины гуляющего прусского полковника.

Меньше чем через два часа мы подъезжаем к Руану, паровоз пыхтит, с черепашьей скоростью тащит состав вдоль Сены к громадному собору. Чайки с криками парят над широкой рекой. Я всегда забываю, как близко столица Нормандии находится к Ла-Маншу. С вокзала я пешком отправляюсь к казармам Пелисье<sup>[24]</sup> по типичному военному городку с его безотрадными лавочками и сапожными мастерскими и характерными грязными на вид барами, неизменно принадлежащими отставному солдату, – выпивать здесь местным гражданским не рекомендуется. Полк «Семь-четыре» занимает три больших трехэтажных

здания в полоску: красный кирпич в них перемежается с серым камнем, их вершины видны над высокой стеной. Когда смотришь на такие здания, то думаешь, что в них могут размещаться фабрики, сумасшедшие дома, тюрьмы. У ворот я показываю свои документы, и дневальный ведет меня между двух казарменных блоков, по плацу с его мачтой под триколор, соснами и водяными желобами к административному зданию в дальнем конце.

Я поднимаюсь по сбитой гвоздями лестнице на второй этаж. Кюре нет в его кабинете. Сержант сообщает мне, что майор отправился на осмотр личных вещей в казарму, он приглашает меня подождать. В комнате только письменный стол и два стула. Высокое окно с маленьким подоконником чуть приоткрыто, и внутрь проникает весенний ветерок и гарнизонные звуки. Я слышу цоканье копыт по брусчатке конюшенного блока, ритмичный шаг роты, возвращающейся маршем с дороги, и где-то вдаль репетицию оркестра. Я словно вернулся в Сен-Сир или в звании капитана нахожусь в штабе дивизии в Тулузе. Даже запахи те же – конский навоз, кожа, еда из солдатской столовой, мужской пот. Мои утонченные парижские друзья удивляются: как я год за годом выношу все это. Я даже не пытаюсь объяснить им правду: неизменная одинаковость и привлекает меня прежде всего.

Кюре вбегает в комнату и рассыпается в извинениях. Сначала он отдает мне честь, потом мы пожимаем друг другу руки и наконец неловко – по моей инициативе – обнимаемся. Я не видел его со времени того концерта у де Комменжей прошлым летом, когда у меня возникло впечатление, будто его что-то беспокоит. Кюре человек честолобивый, на год или два старше меня. И если он завидует моему новому званию, то его можно по-человечески понять.

– Ну-ну, – говорит он, отходя назад и оглядывая меня. – Полковник!

– Согласен, к этому нужно привыкнуть.

– Надолго к нам?

– Всего на несколько часов. Вечерним поездом возвращаюсь в Париж.

– Это нужно отметить.

Кюре открывает ящик стола, достает бутылку коньяка и два стакана, наполняет их до края. Мы пьем за армию. Он снова наливает – и мы пьем за мое повышение. Но я чувствую, что где-то в глубине за этими поздравлениями между нами уже наметилось отчуждение. Впрочем, никто посторонний, войдя в комнату, не заметил бы этого. Кюре наливает по третьему разу. Мы расстегиваем мундиры, усаживаемся поудобнее, закуриваем, укладываем ноги на стол. Мы говорим о старых товарищах, старых временах, смеемся. Наступает короткая пауза, и тут он спрашивает:

– Чем именно ты теперь занимаешься в Париже?

Я медлю с ответом – мне нельзя это разглашать.

– Я занял место Сандерра – руковожу контрразведкой.

– Боже милостивый, правда? – Кюре хмуро поглядывает на пустой стакан, но нового тоста не предлагает. – Так ты к нам шпионить приехал?

– Что-то вроде того.

– Надеюсь, не за мной? – К нему возвращается проблеск его прежнего веселого нрава.

– В этот раз – нет. – Я улыбаюсь и ставлю стакан. – В семьдесят четвертом есть майор по фамилии Эстерхази.

– И в самом деле есть, – кивает Кюре и смотрит на меня с непроницаемым выражением.

– Что он собой представляет?

– Что он натворил?

– Не могу сказать.

– Я ждал именно такого ответа. – Кюре встает, начинает застегивать мундир. – Не знаю, как тебе, а мне нужно проветриться.

Ветер на улице стал крепче, он несет в себе морскую прохладу. Мы идем по периметру плаца. Спустя какое-то время Кюре говорит:

– Я понимаю, ты мне не можешь сказать, что там у вас происходит, но позволь дать тебе совет: будь осторожен с Эстерхази. Он опасный человек.

– В каком смысле – физически?

– Во всех смыслах. Что ты про него знаешь?

– Ничего, – отвечаю я. – Ты первый человек, к которому я обратился.

– Имей в виду, у него обширные связи. Его отец был генералом. Он называет себя «граф Эстерхази», но я думаю, это просто жеманство. Как бы то ни было, но его жена – дочь маркиза де Неттанкура, так что у него много знакомых.

– Сколько ему лет?

– Около пятидесяти, я бы сказал.

– Пятидесяти? – Я оглядываю казармы. День близится к вечеру. Солдаты с бледными лицами и серыми стриженными головами высовываются из окон, словно заключенные.

Кюре прослеживает направление моего взгляда.

– Я знаю, что ты думаешь.

– Да?

– Почему если ему пятьдесят и он зять маркиза, то застрял в такой дыре? Естественно, это первое, что я бы хотел знать.

– Ну если уж ты сам сказал, то почему?

– Потому что у него нет денег.

– Несмотря на все связи?

– Он их проигрывает. Но не за карточным столом. На ипподроме и бирже.

– Неужели у его жены нет капитала?

– Есть, но она хорошо знает своего мужа. Я слышал, как Эстерхази сетовал, что даже загородный дом она записала на себя, чтобы защититься от его кредиторов. Она ему и одного су не дает.

– Но у него есть квартира в Париже.

– Можешь не сомневаться: квартира тоже принадлежит жене.

Мы идем некоторое время молча. Я вспоминаю письмо Шварцкоппена. Речь там шла о деньгах. «Ваши условия неприемлемы для меня...».

– Скажи мне, – говорю я. – Какой он офицер?

– Хуже не бывает.

– Пренебрегает своими обязанностями?

– Совершенно. Полковник перестал поручать ему что-либо.

– Так его здесь не бывает?

– Напротив, он всегда здесь.

– И чем он занимается?

– Путается под ногами. Любит ошиваться рядом с тобой и задавать кучу дурацких вопросов о делах, которые не имеют к нему никакого отношения.

– О чем вопросы?

– Обо всем.



– Ну, например, об артиллерии?

– Точно.

– И что он спрашивает об артиллерии?

– Да чего он только не спрашивает! Я точно знаю, что Эстерхази был на трех артиллерийских стрельбах. Полковник категорически отказался назначать его на последние, так он в конце концов сам заплатил за поездку.

– Мне показалось с твоих слов, что у него нет денег.

– Верно, в этом-то и дело. – Кюре резко останавливается. – Слушай, я вот начал вспоминать... мне стало известно, что он еще заплатил и капралу его батальона, чтобы тот скопировал инструкции по стрельбе: ты же знаешь, нам такие документы запрещается держать больше дня, максимум двух.

– Эстерхази представил какие-то объяснения?

– Сказал, что собирается предложить некоторые усовершенствования...

Мы идем дальше. Солнце опустилось за одну из казарм, и на плац упала тень. Резко похолодало.

– Ты сказал, что он опасен.

– Объяснить это непросто. Он какой-то непредсказуемый. И еще коварный. И в то же время может быть очаровательным. Скажем так: как бы он себя ни вел, никто не хочет переходить ему дорогу. И еще у него довольно необычная внешность. Ты должен сам его увидеть, чтобы понять, что я имею в виду.

– Я бы хотел на него взглянуть. Но дело вот в чем: я бы не хотел рисковать – он меня видеть не должен. Я бы не мог откуда-нибудь незаметно посмотреть на него?

– Тут неподалеку есть бар, он проводит там почти все вечера. Это не наверняка, но, возможно, ты бы мог увидеть его там.

– А ты меня туда не проводишь?

– Мне показалось, ты собираешься уехать вечерним поездом.

– Я могу остаться до утра. Одна ночь ничего не решает. Идем, мой друг! Вспомним старые времена.

Но Кюре, кажется, уже наелся старыми временами. Он смотрит на меня жестким, оценивающим взглядом.

– Теперь я понимаю, Жорж: дело, вероятно, серьезное, если ты ради него отказываешься от ночи в Париже.

Кюре уговаривает меня вернуться к нему и вместе с ним дожидаться вечера, но я предпочитаю не оставаться в казарме, опасаясь, что меня узнают. Тут неподалеку от вокзала есть небольшая гостиница для коммивояжеров – я ее заметил, когда шел мимо. Я возвращаюсь и плачу за номер. Там стоит застоялый запах, повсюду грязь, электричества нет. Матрас жесткий и тонкий, стены сотрясаются от каждого проходящего поезда. Но одну ночь я перебыю. Я вытягиваюсь на кровати – она короткая, мои ноги свешиваются за край. Я курю и думаю о таинственном Эстерхази – человеке, у которого в избытке есть то, чего не было у Дрейфуса: мотив.

День за окном гаснет. В семь часов начинают звонить колокола собора Руанской Богоматери – тяжелые и звучные, их звон накатывает на реку, как огневой вал, а когда прекращается, мне кажется, что внезапная тишина повисла в воздухе, как дым.

Когда я встаю и спускаюсь по лестнице, за окном уже темно. Кюре ждет меня внизу. Он

предлагает мне закрепить накидку на плечах потуже, чтобы скрыть знаки различия.

Мы идем минут пять-десять мимо домов с закрытыми ставнями, мимо двух тихих баров и наконец оказываемся в тупичке, заполненном тенями людей, в основном солдат и нескольких молодых женщин. Они тихо переговариваются, смеются, топчутся у длинного, низкого здания без окон – оно похоже на переоборудованный склад. Писанная маслом вывеска гласит «Фоли-Бержер»<sup>[25]</sup>. Безднадежность этих провинциальных претензий чуть ли не трогает.

– Подожди здесь, – говорит Кюре. – Посмотрю, пришел он или нет.

Кюре уходит. Дверь открывается, я на секунду вижу очертания его фигуры в проеме дверей на фоне сиреневатого сияния. Я слышу грохот музыки, а потом его поглощает темнота. Женщина с огромным декольте, белая, как гусиная кожа на холоде, подходит ко мне, держа незажженную сигарету, и просит прикурить. Не давая себе труда подумать, я чиркаю спичкой. В желтой вспышке вижу, что она молода и красива. Женщина близоруко смотрит на меня.

– Я тебя знаю, дорогой?

Понимаю свою ошибку.

– Извините, я жду кое-кого...

Загасив спичку, я ухожу.

– Не будь ты таким, миленок! – со смехом кричит он мне вслед.

– А кто он вообще такой? – спрашивает другой женский голос.

Потом раздается пьяный мужской голос:

– Он чванливый мудака!

В мою сторону поворачиваются двое солдат.

В дверях появляется Кюре. Он кивает и манит меня. Я подхожу к нему.

– Мне надо уйти, – говорю я.

– Быстро посмотришь – и уходим.

Кюре берет меня под руку и проталкивает перед собой, мы идем по короткому коридору, вниз на несколько ступеней, за тяжелый бархатный занавес в длинный зал, в котором висит табачное облако. Зал битком набит людьми, сидящими за небольшими круглыми столиками. В дальнем углу играет оркестр, на подмостках с полдесяток девиц в корсетах и панталонах, с вырезом в паху, они задирают юбки и апатично машут ногами на публику. Их подошвы стучат по голым доскам. В зале стоит запах абсента.

– Вон он. – Кюре кивает в сторону столика шагах в двадцати, за которым две пары делят бутылку шампанского.

Одна из женщин, рыжеволосая, сидит спиной ко мне, другая, брюнетка, повернулась на стуле и смотрит на подмостки. Мужчины, глядя друг на друга, вяло говорят о чем-то. Кюре нет нужды сообщать, кого он мне показывает. Майор Эстерхази сидит, отодвинувшись от столика, его мундир расстегнут, ноги широко раздвинуты, руки свисают чуть не до пола. В правой руке он под небрежным наклоном держит бокал с шампанским, словно тот и не стóит того, чтобы о нем думать. Его голова в профиль плосковата и конусом сходится к большому клювообразному носу. Усы большие, закручены к ушам. Похоже, он пьян. Его собеседник замечает нас у дверей, говорит что-то, и Эстерхази поворачивает голову в нашу сторону. У него круглые, выступающие глаза, не естественные, а с сумасшедшинкой, похожи на стеклянные шары, вставленные в череп скелета в медицинской школе. Как и предупреждал Кюре, вид этого человека производит тревожное впечатление.

«Боже мой, – думаю я, – да ведь он и глазом не моргнет – сожжет это заведение со всеми его обитателями».

Взгляд Эстерхази на миг останавливается на нас, и я чувствую что-то похожее на любопытство в наклоне его головы, прищуре глаз. К счастью, он пьян, и когда одна из женщин говорит что-то, его внимание сквозь дурман обращается к ней.

– Нам нужно идти. – Кюре берет меня под локоть. – Он откидывает занавес и ведет меня из зала.

Я возвращаюсь в Париж до полудня на следующий день, в субботу, и решаю не ходить в отдел. А поэтому только в понедельник, четыре дня спустя после моего последнего разговора с Лотом, возвращаюсь на работу. Еще на лестнице слышу голос майора Анри, а когда оказываюсь на площадке, вижу его в коридоре – он как раз выходит из кабинета Лота. На его рукаве черная повязка.

– Полковник Пикар, – говорит он, подходя и отдавая честь. – Докладываю о прибытии на службу.

– Я рад, что вы вернулись, майор, – отвечаю я, тоже отдавая ему честь. – Хотя, естественно, обстоятельства вызывают у меня сожаление. Надеюсь, уход вашей матери был не слишком мучителен для нее.

– Из этой жизни не так уж много немучительных выходов, полковник. Если говорить откровенно, к концу я уже молился, чтобы это закончилось. Я теперь буду держать при себе служебный пистолет. Хочу умереть от доброй чистой пули, когда придет мой час.

– И я собираюсь сделать то же самое.

– Проблема только в одном: хватит ли силы духа нажать на курок.

– Ну, я надеюсь, что вокруг будет достаточно людей, которые с радостью сделают нам это одолжение.

– В этом вы не ошибаетесь, полковник! – смеется Анри.

Я отпираю дверь своего кабинета и приглашаю его. Внутри холодная, застоялая атмосфера помещения, не использовавшегося несколько дней. Анри садится. Тонкие деревянные ножки стула потрескивают под его весом.

– Я слышал, – говорит он, закуривая сигарету, – что вы тут были заняты, пока я отсутствовал.

– Вы говорили с Лотом?

Конечно, я должен был догадаться, что Лот ему скажет: этих двоих водой не разольешь.

– Да, он ввел меня в курс дела. Позвольте мне взглянуть на новые материалы?

Я чувствую некоторое раздражение, когда открываю сейф и вручаю ему папку. Чувствую мелочность собственных слов, но все же говорю:

– Я предполагал, что буду первым, кто посвятит вас в эту историю.

– Это имеет значение?

– Только в той мере, что я просил Лота никому не говорить о находке.

Анри, зажав сигарету губами, надевает очки и берет два документа. Щурится, разглядывая их сквозь дым.

– Вероятно, – бормочет он, – Лот считает, что я не отношусь к категории «никому». – Сигарета подпрыгивает в его губах, пепел падает ему на колени.

– «Никому» значит никому.

– Вы уже предпринимали какие-то шаги по этим документам?

– На улице Сен-Доминик еще никто ничего не знает, если вы об этом спрашиваете.

– Вероятно, вы поступили разумно. Они только кудахтать начнут.

– Согласен. Но хочу, чтобы мы сначала провели собственное расследование. Я уже побывал в Руане...

Анри смотрит на меня поверх очков:

– Вы были в Руане?

– В «Семь-четыре» – это полк Эстерхази – служит один майор, мой старинный приятель. Он предоставил мне кое-какую ценную информацию.

Анри возобновляет чтение.

– И позвольте мне спросить, что вам сообщил ваш старый приятель? – спрашивает он.

– Сказал, что у Эстерхази манера задавать множество подозрительных вопросов. Что он даже из собственных денег оплатил поездку на артиллерийские стрельбы, а впоследствии заполучил инструкции по стрельбе. Кроме того, Эстерхази крайне нуждается в деньгах, и характер у него дурной.

– Вот как? – Анри переворачивает «пти блю», рассматривает адрес. – Когда он работал здесь, ничего такого за ним не замечалось.

Нужно отдать должное Анри за то самообладание, с которым он преподносит мне эту бомбу. Несколько секунд я просто смотрю на него.

– Лот ни слова мне не сказал о том, что Эстерхази служил здесь.

– Потому что он этого не знал. – Анри кладет документы на мой стол и снимает очки. – Это было задолго до появления здесь Лота. Меня самого тогда только-только сюда назначили.

– И когда это было?

– Лет пятнадцать назад.

– Значит, вы знакомы с Эстерхази?

– Да, был когда-то – шапочно. Он недолго здесь продержался. Работал переводчиком с немецкого. Но я много лет его не видел.

Я откидываюсь на спинку стула.

– Это поднимает все дело на совершенно новый уровень.

– Да? – пожимает плечами Анри. – Похоже, я не улавливаю ход вашей мысли. Почему?

– Вы, кажется, слишком спокойно воспринимаете это, майор! – В демонстративном безразличии Анри есть что-то насмешливое. Я чувствую, как во мне закипает злость. – Совершенно очевидно, что дело становится гораздо серьезнее, если Эстерхази осведомлен о наших разведывательных приемах.

Анри улыбается и покачивает головой:

– Позвольте дать вам совет, полковник. Я бы на вашем месте не драматизировал ситуацию. Не важно, на скольких стрельбах побывал Эстерхази. Я не представляю, как он мог получить доступ к важным тайнам, находясь в этой дыре – в Руане. И даже само письмо Шварцкоппена ясно говорит нам, что никаких тайн Эстерхази не знает – ведь немцы грозят порвать с ним отношения. Они бы так с ним не разговаривали, если бы считали его ценным шпионом. Всегда легко совершить ошибку подобного рода, – продолжает Анри, – если вы новичок в деле: вы первого плутоватого типа принимаете за серьезного шпиона. Серьезный шпион – большая редкость. Я бы сказал, что чрезмерной реакцией можно нанести больший ущерб, чем его нанес так называемый предатель.

– Я надеюсь, вы не предлагаете предоставить его самому себе? – холодно отвечаю я. – Пусть, мол, и дальше передает иностранной державе информацию, даже если она и не имеет особой ценности?

– Ни в коем случае! Полностью согласен, что за Эстерхази нужно установить наблюдение. Просто я думаю, что наша реакция должна быть адекватной. Почему бы не поручить Гене разнюхать – посмотрим, что ему удастся выяснить.

– Нет, я не хочу, чтобы этим занимался Гене. – Гене – еще один член команды Анри. – Пусть для разнообразия этим займется кто-нибудь другой.

– Как вам угодно, – говорит Анри. – Скажите мне, кому дать это задание.

– Нет, спасибо за предложение, но задание ему дам я сам, – улыбаюсь я Анри. – Дополнительный опыт пойдет мне на пользу. Прошу... – Я показываю на дверь. – И еще раз: рад вашему возвращению. Скажите, пожалуйста, Гриблену – пусть зайдет ко мне.

В маленьком нравоучении Анри меня особенно задевает то, что оно не лишено здравого смысла. Он прав: в своем воображении я позволил Эстерхази вырасти до предателя масштабов Дрейфуса, тогда как на самом деле, как говорит Анри, все данные свидетельствуют о том, что особого ущерба он нам не нанес. И все же я не доставлю ему такого удовольствия: не позволю возглавить операцию. Я займусь ею сам. И когда Гриблен заходит ко мне, я прошу его принести мне список всех полицейских агентов, услугами которых отдел пользовался в последнее время, с их адресами и кратким послужным списком. Он уходит и возвращается полчаса спустя со списком из десятка имен.

Гриблен для меня загадка: образец подобострастного бюрократа, живой труп. Ему, вероятно, между сорока и шестидестью, он тощ, как столб черного дыма – единственный цвет, который он носит. По большей части Гриблен закрывается в своем архиве наверху. А в тех редких случаях, когда все же появляется, то жметя к стенам, темный и безмолвный, как тень. Я могу представить, как он проникает в кабинет в щель между дверью и косяком или проскальзывает снизу. Единственный звук, который издает архивист, – это позвякивание ключей, он носит их на цепочке, прикрепленной к поясу. Теперь он стоит абсолютно неподвижно перед моим столом, пока я просматриваю список. Я спрашиваю, кого из агентов порекомендовал бы он. Но Гриблен отказывается соучаствовать: «Они все хорошие люди». Он не спрашивает, зачем мне нужен агент. Гриблен скуп на слова, как папский исповедник.

В конце концов я выбираю молодого полицейского из французской уголовной полиции – Жана-Альфреда Девернина. Он прикреплен к полицейскому подразделению вокзала Сен-Лазар. Бывший драгунский лейтенант родом из Медока, выслужился из рядовых, наделал долгов, играя в азартные игры, и вынужден был из-за этого оставить службу, но потом зарабатывал себе на жизнь честным трудом: если кто и имеет шанс проникнуть в тайны пагубных привычек Эстерхази, то, пожалуй, он.

Гриблен уходит неслышной тенью, а я пишу послание Девернину, прошу его встретиться со мной послезавтра. Я не приглашаю его к себе – тут его могут увидеть Анри и Лот, – а назначаю ему встречу на девять утра перед Лувром на площади Каррузель. Я пишу, что буду в гражданской одежде, в сюртуке и котелке, с красной гвоздикой в петлице и номером «Фигаро» под мышкой. Запечатывая конверт, я размышляю, как легко принимаю я клише шпионского мира. Меня это тревожит. Я уже никому не доверяю. Скоро ли я начну бредить, как Сандерр, клясть дегенератов и иностранцев? Это профессиональное заболевание: все шпионы в конце концов должны сходить с ума.

Утром в среду, одевшись соответствующим образом, я прихожу к Лувру. Из толпы туристов внезапно появляется энергичного вида человек со свежим лицом и усами с проседью – чувствую, что это Девернин. Мы обмениваемся кивками. Я понимаю, что он уже, вероятно, несколько минут наблюдал за мной.

– Слежки за вами нет, полковник, – тихо говорит он, – по крайней мере, я ничего такого не заметил. Но я предлагаю пройти в музей, если вы не против. Если мне понадобится

делать записи, там это будет выглядеть более естественно.

– Последую вашему совету: такие дела – не моя специализация.

– Верно, полковник... предоставьте подобные дела таким, как мы.

У него широкие плечи спортсмена и походка вразвалочку. Я иду за ним к ближайшему павильону. День только начинается, и толкучки еще нет. В вестибюле у входа гардероб, лестница вверх и галереи слева и справа. Девернин поворачивает направо.

– Мы не можем выбрать другой маршрут? – возражаю я. – В той части ужасная дрянь.

– Правда? А по мне, так все одинаково.

– Вы занимаетесь полицейской работой Девернин, а культуру оставьте мне. Пойдемте сюда.

Я покупаю путеводитель в галерее Денон, в которой явственно ощущаю запах школьного класса. Мы стоим рядом и созерцаем бронзовую статую императора Коммода в образе Геракла – ватиканская копия времен Ренессанса. В галерее почти пусто.

– Это должно остаться между нами, вы меня понимаете? – говорю я. – Если ваше начальство попытается узнать, чем вы заняты, отсылайте их ко мне.

– Понятно. – Девернин достает блокнот и карандаш.

– Я хочу, чтобы вы разузнали как можно больше об армейском майоре Шарле Фердинанде Вальсен-Эстерхази. – Я говорю шепотом, но эхо разносит мой голос. – Иногда он называет себя «граф Эстерхази». Ему сорок восемь лет, он служит в Семьдесят четвертом пехотном полку в Руане. Женат на дочери маркиза Неттанкура. Он играет на скачках, на бирже, ведет беспутный образ жизни – вы лучше меня знаете, где искать таких личностей.

Девернин чуть краснеет:

– И когда вам это нужно?

– Как можно скорее. Не могли бы вы предоставить мне предварительный доклад на следующей неделе?

– Постараюсь.

– И еще одно: меня интересует, как часто Эстерхази бывает в немецком посольстве.

Если последняя просьба и удивляет Девернина, то он слишком профессионален, чтобы показать это. Должно быть, мы выглядим странной парой: я, в котелке и сюртуке, поглядываю в путеводитель и разглагольствую, он, в потертом коричневом костюме, записывает за мной. Но на нас никто не смотрит. Мы переходим к следующему экспонату. В путеводителе написано: «Мальчик, вынимающий занозу из ноги».

– В следующий раз, – говорит Девернин, – мы должны встретиться где-нибудь в другом месте – мера предосторожности.

– Как насчет ресторана у вокзала Сен-Лазар? – предлагаю я, вспоминая мое путешествие в Руан. – Это ваша епархия.

– Я прекрасно его знаю.

– Следующий четверг в семь вечера?

– Договорились. – Он записывает для памяти, убирает блокнот и принимается разглядывать бронзовую скульптуру. Чешет затылок. – Вы и правда считаете, что это хорошо, полковник?

– Нет, я такого не говорил. Как часто бывает в жизни, это просто лучше, чем другой вариант.

Не вся моя жизнь посвящена расследованию дела Эстерхази. У меня есть и другие

заботы, и не последняя из них – предательская активность почтовых голубей.

Гриблен приносит мне папку. Ее прислали с улицы Сен-Доминик. Он протягивает мне ее, и я вижу, как его тусклые глаза светятся злорадным удовольствием. Похоже, английские любители почтовых голубей взяли себе в привычку перевозить птиц в Шербур и там выпускать, чтобы они возвращались домой через Ламанш. Каждый год выпускают около девяти тысяч птиц: безобидное, чтобы не сказать бестолковое, занятие, но полковник Сандерр, будучи в последней стадии болезни, решил, что голуби представляют угрозу национальной безопасности, а потому должны быть запрещены, потому что птицы, возможно, используются для переправки секретных сообщений. Эта безумная записка долго – почти год – циркулировала по Министерству внутренних дел, потом был подготовлен закон. И теперь генерал Буадефр требует, чтобы я, как глава статистического отдела, подготовил мнение военного министерства о законопроекте.

Нет нужды говорить, что у меня нет никакого мнения. Архивист уходит, а я сижу за столом, перечитывая документ. Смысла в нем для меня столько, что он вполне мог быть написан на санскрите, и я подумываю, не обратиться ли мне к юристу. Потом мне приходит в голову, что лучший юрист, какого я знаю, мой старейший друг Луи Леблуа, он по забавному совпадению живет на улице Юниверсите. Я отправляю ему «пти блю», в которой спрашиваю, не мог ли бы он заглянуть ко мне по пути домой для обсуждения одного делового вопроса, и в конце дня я слышу звук электрического звонка, сообщающий о том, что кто-то вошел в дверь. Я успеваю спуститься до половины лестницы, а снизу половину преодолевает Бахир, он подает мне визитку Луи.

– Все в порядке, Бахир. Я знаю этого человека. Пропусти его.

Две минуты спустя я стою у окна с Луи – показываю ему министерский сад.

– Жорж, – качает он головой, – я таких удивительных зданий не видел. Я часто проходил мимо и спрашивал себя, кому оно принадлежит. Ты ведь знаешь, чем оно было прежде?

– Нет.

– До революции это был дворец Эгийонов, тут у старой герцогини Анны-Шарлотты де Крюссоль Флоренсак был литературный салон. В этой самой комнате, возможно, сидели Монтескье и Вольтер! – Он помахивает рукой перед носом. – Их тела, случайно, не лежат в подвале? Что, черт побери, ты тут делаешь целый день?

– Затрудняюсь сказать, хотя думаю, это позабавило бы Вольтера. Но я могу подбросить тебе кое-какую работу, если ты заинтересован. – Я передаю Луи папку с материалами о почтовых голубях. – Скажи мне, ты видишь в этом какой-нибудь смысл?

– Хочешь, чтобы я посмотрел сейчас?

– Если не возражаешь – это, к сожалению, нельзя выносить из здания.

– Почему? Секретные материалы?

– Нет, будь они секретные, я бы не имел права показывать их тебе. Но я не могу допустить, чтобы они вышли за пределы здания. – Луи в нерешительности. – Я тебе заплачу, – добавляю я, – по твоей обычной ставке.

– Ну, если у меня хоть раз в жизни появилась возможность выкачать из тебя какие-то деньги, то я, естественно, сделаю это! – смеется он. Потом садится за стол, открывает свой портфель, достает лист бумаги и начинает читать, а я тем временем возвращаюсь за свой стол.

«Аккуратный» – вот точное слово, описывающее Луи: он одного со мной возраста, у него аккуратно подстриженная борода, аккуратные маленькие руки, которые быстро двигаются



по листу бумаги по мере того, как он записывает свои аккуратные, упорядоченные мысли. Я с нежностью смотрю на него. Он целиком погрузился в работу. Точно как в прежние времена, когда мы с ним учились в Страсбургском лицее. В возрасте одиннадцати лет мы оба потеряли одного из родителей: я – отца, он – мать. Так и организовался наш клуб из двух человек, хотя о том, что связывало нас, никогда не говорилось – ни тогда, ни теперь.

Я достаю перо и начинаю писать отчет. Около часа мы работаем в дружеском молчании, потом раздается стук в дверь.

– Войдите! – кричу я.

Входит Анри с папкой. При виде Луи на его лице появляется такое испуганное выражение, как если бы он увидел меня голым под ручку с уличной девкой из Руана.

– Майор Анри, – говорю я, – это мой добрый приятель, адвокат Луи Леблуа. – Луи, погруженный в работу, только поднимает левую руку, не переставая писать, а Анри переводит взгляд с меня на него, потом опять на меня. – Адвокат Леблуа, – поясняю я, – составляет для нас юридическое обоснование по поводу этого абсурдного дела с почтовыми голубями.

Несколько мгновений Анри, кажется, настолько переполнен эмоциями, что теряет дар речи.

– Позвольте вас на несколько слов, полковник? – спрашивает он наконец и, когда я выхожу с ним в коридор, холодно произносит: – Полковник, я должен возразить. У нас не принято впускать сюда посторонних.

– Гене постоянно приходит сюда.

– Мсье Гене служит в полиции!

– Ну а адвокат Леблуа служит в суде, – отвечаю я скорее удивленным, чем рассерженным, тоном. – Я знаю его более тридцати лет. Могу поручиться за его честность. И потом, он всего лишь просматривает дело о почтовых голубях. Это не засекреченные материалы.

– Но у вас в кабинете есть другие папки – высшей степени секретности.

– Они заперты и не лежат на виду.

– Тем не менее я хочу заявить мое категорическое возражение...

– Да бросьте вы, майор Анри, – обрываю я его, – бога ради, зачем столько пафоса! Я глава отдела и буду принимать, кого хочу!

Я разворачиваюсь и ухожу в свой кабинет, закрывая дверь. Луи, который, вероятно, слышал весь разговор, говорит:

– У тебя из-за меня проблемы?

– Никаких проблем. Но эти люди... вот проблема!

Я сажусь на свой стул, вздыхаю, покачивая головой.

– Ну, я в любом случае закончил. – Луи встает и возвращает мне папку. Сверху лежат несколько страниц, исписанных его аккуратным почерком. – Все очень просто. Вот возражения, которые ты должен сделать. – Он озабоченно смотрит на меня. – Твоя блестящая карьера – это прекрасно, Жорж, вот только никто из нас тебя больше не видит. Дружбу нужно поддерживать. Давай-ка зайдем сейчас ко мне, поужинаем.

– Спасибо, но не могу.

– Почему?

Я хочу сказать: «Потому что я и словом не могу тебе обмолвиться о том, чем заняты мои мысли, или о том, что я делаю весь день. Когда приходится все время быть начеку, чтобы не

проболтаться, общение превращается в жульничество и муку». Вместо этого я вежливо отвечаю:

– Боюсь, в последнее время я плохой собеседник.

– Ну, это уж мы сами решим. Идем. Прошу тебя.

Луи настолько добр и откровенен, что мне остается только сдаться.

– С удовольствием, – отвечаю я. – Но только если ты уверен, что Марта не будет против.

– Мой дорогой Жорж, она будет просто счастлива.

До их квартиры рукой подать, буквально бульвар Сен-Жермен перейти, а Марта и в самом деле рада меня видеть. Я вхожу – и она обнимает меня. Ей двадцать семь, она на четырнадцать лет моложе нас. Я был шафером на их свадьбе. Марта всюду ходит с Луи, вероятно, потому, что у них нет детей. Но если это их и огорчает, то они никак не демонстрируют свою печаль. И они не спрашивают меня, когда я собираюсь жениться, а это тоже немало. Я провожу в их обществе три счастливых часа, разговаривая о прошлом и о политике, – Луи заместитель мэра VII округа, и по многим вопросам у него радикальные взгляды. Заканчивается вечер музыкой: они поют, а я аккомпанирую им на рояли.

– Мы должны делать это каждую неделю, – провозжая меня, говорит Луи. – Иначе ты с ума сойдешь. И помни: если ты допоздна задерживаешься на работе, то всегда можешь переночевать у нас.

– Ты щедрый друг, дорогой Луи. Всегда был таким.

Я целую его в щеку и выхожу в ночь, напевая мелодию, которую только что играл. Я немного пьян, но настроение у меня от их общества стало гораздо лучше.

Вечером следующего четверга ровно в семь я сижу, попивая эльзасское пиво, в углу гулкого, мрачного ресторана с преобладанием желтого цвета. Ресторан заполнен, двойные двери все время распахиваются то внутрь, то наружу, скрипят пружины. Гул голосов, движение внутри, гудки, крики, резкие выхлопы пара из локомотивов делают это место идеальным, если ты не хочешь, чтобы твой разговор подслушали. Мне удалось занять столик на двоих, с которого я хорошо вижу входные двери. И снова Девернин удивляет меня, появляясь сзади. Он несет бутылку с минеральной водой, отказывается от пива и вытаскивает свой маленький блокнот, еще не успев сесть на мягкий стул, обитый малиновой тканью.

– Ну и тип этот ваш майор Эстерхази, полковник. Огромные долги по всему Руану и Парижу. Вот у меня их список.

– А на что он тратит деньги?

– В основном на азартные игры. Там есть одно такое заведение на бульваре Пуассоньер. Эта болезнь лечится с трудом – по себе знаю. – Девернин подвигает ко мне список по столешнице. – У него есть любовница, некая мадемуазель Маргарита Пэ двадцати шести лет, зарегистрированная проститутка в округе Пигаль, у нее прозвище Четырехпалая Маргарита.

Я не могу сдерживать смех:

– Вы серьезно?!

Девернин, бывший унтер-офицер, ставший полицейским, не видит в этом ничего смешного.

– Вообще-то, она из Руана, дочь рабочего с винного завода, начала трудиться на прядильной фабрике еще девчонкой, потеряла палец при несчастном случае, а с ним и работу, переехала в Париж, стала проституткой на улице Виктор-Массе, в прошлом году

познакомилась с Эстерхази – то ли в поезде Париж – Руан, то ли в «Мулен Руж», версии разнятся в зависимости от того, с кем из девушек говоришь.

– Значит, об их связи известно?

– Никакой тайны. Он даже нашел ей квартиру: улице Дуэ, 49, близ Монмартра. Бывает у нее каждый вечер, когда в Париже. Девушки в «Мулен Руж» называют его Благодетель.

– Такой образ жизни недешев.

– Эстерхази старается заработать, на чем только может, чтобы так оно и оставалось. Он даже попытался поступить в совет директоров одной британской компании в Лондоне – сомнительное занятие для французского офицера, если подумать.

– А где все это время находится его жена?

– Либо в ее имении в Доммартен-ла-Планшетт в Арденнах, либо в парижской квартире. После Маргариты он возвращается к ней.

– Похоже, Эстерхази человек, для которого предательство – вторая натура.

– Я тоже так думаю.

– Что с немцами? Есть у него какие-то связи с ними?

– Пока мне не удалось выяснить.

– А мы можем установить за ним слежку?

– Можно было бы, – с сомнением говорит Девернин, – но, насколько я успел понять, Эстерхази осторожная птица. Он скоро нас раскусит.

– В таком случае мы не можем рисковать. Меньше всего мне нужно, чтобы майор со связями пожаловался в министерство на то, что его преследует.

– Лучше всего установить наблюдение за немецким посольством – может быть, мы увидим его там.

– Мне никогда не получить на это разрешения, – качаю я головой.

– Почему?

– Слишком уж очевидно. Посол заявит протест.

– Вообще, я знаю способ, как сделать, чтобы они ничего не заметили. – Девернин достает записную книжку и передает мне маленький квадратик, аккуратно вырезанный из газеты. Объявление о сдающейся в аренду квартире на улице Лиль – на той самой улице, где расположен дворец Богарне, в котором разместилось немецкое посольство. – Второй этаж, почти напротив немцев. Можно там устроить наблюдательный пост – фиксировать всех, кто приходит и уходит. – Он смотрит на меня, гордый своей инициативой, ждет моего одобрения. – И вот еще в чем изюминка: квартира внизу уже снята посольством. Там что-то вроде офицерского клуба.

Идея мне нравится. Меня восхищает ее дерзость, а кроме того, эта операция будет проводиться независимо от Анри.

– Нам понадобится арендатор с хорошей историей прикрытия, – говорю я, обдумывая его предложение, – чтобы избежать подозрений. У человека должны быть основания, чтобы целыми днями не выходить из дома.

– Я думал о человеке, который работает в ночную смену, – говорит Девернин. – Он может приходить домой каждое утро в семь, а уходить на работу к шести вечера.

– И сколько просят за аренду?

– Две сотни в месяц.

Я покачиваю головой:

– Ни один человек, работающий по ночам, не может позволить себе такую квартиру.

Улица фешенебельная. Более подходящим арендатором будет какой-нибудь молодой богатый бездельник с постоянным доходом – ночью он гуляет, а днем отсыпается.

– Не уверен, что я вращаюсь в таких кругах, полковник.

– Да. Но я вращаюсь.

Я отправляю «пти блю» одному знакомому молодому человеку и договариваюсь с ним о встрече в воскресенье, ближе к вечеру, в кафе на Елисейских Полях. Смотрю, как он жадно ест, словно дня два не видел еды. Потом мы отправляемся прогуляться по саду Тюильри.

Жермен Дюкасс – чувствительная, образованная душа лет тридцати пяти, у него темные кудрявые волосы и нежные карие глаза, он пользуется популярностью среди старых холостяков и замужних дам, которым требуется проводник в оперу, не вызывающий ревности у мужей. Я знаю его больше десяти лет, со времени завершения им военной службы под моей командой в 126-м Линейном полку, дислоцированном в алжирском Памье. Я рекомендовал ему изучать иностранные языки в Сорбонне и время от времени беру его на вечера у Комменжей. Теперь Дюкасс ведет полуголодное существование в качестве переводчика и секретаря, а когда я говорю, что, возможно, у меня найдется для него работа, его благодарность не знает предела.

– Жорж, с вашей стороны это очень благородно. Вы только посмотрите. – Дюкасс хватается меня за рукав для равновесия и поднимает ногу, чтобы показать мне дыру в ботинке. – Видите, какой позор. – Он продолжает держать меня за рукав.

– Работа, о которой я говорю, наверняка покажется вам скучной. – Я аккуратно освобождаюсь от его хватки. – Но должен вам сразу сказать, что она необычная и неинтересная. К тому же эта работа потребует всего вашего времени. И еще, прежде чем я продолжу, мне понадобится ваше заверение, что вы никому ни словом о ней не обмолвитесь.

– Как таинственно! Естественно, я даю вам слово. И что за работа?

Я отвечаю, только когда мы находим скамейку вдали от воскресных толп.

– Я хочу, чтобы вы завтра утром сняли эту квартиру. – Я даю ему объявление из газеты. – Вы предложите агентам плату на три месяца вперед. Если они спросят рекомендации, сошлитесь на Комменжей – я улажу этот вопрос с Эмери. Скажете, что квартира вам нужна немедленно, в тот же день, если возможно. На следующий день после вашего поселения к вам придет человек, который представится как Робер Уден. Он работает на меня и расскажет, что от вас требуется. Главным образом это наблюдение за зданием на противоположной стороне в течение всего дня. Вечерами вы свободны.

– Должен сказать, звучит очень захватывающе. – Дюкасс разглядывает объявление. – Я что – становлюсь шпионом?

– Вот вам шестьсот франков для оплаты квартиры, – продолжаю я, отсчитывая банкноты, которые взял предыдущим вечером в специальном фонде, – и вот четыре сотни вам. Двухнедельный аванс. Да, вы становитесь шпионом, но ни одна живая душа не должна об этом знать. С этого времени нас не должны видеть вместе. И бога ради, мой дорогой Жермен, прежде чем вы отправитесь в агентство, купите себе приличные туфли: вы должны выглядеть как человек, который может позволить себе жить на улице Лиль.

Я открываю папку с активным делом. Решаю назвать его «Операция „Благодетель“». Благодетель – кодовое имя Эстерхази, позаимствованное у девиц с Пигаль. Дюкасс без труда снимает квартиру и переезжает туда, прихватив с собой несколько личных вещей. На

следующее утро Девернин, называющий себя Уденом, приходит к Дюкассу и объясняет, что от того требуется. Прибывает развозной фургон, в квартиру заносят коробки с оптическим и фотографическим оборудованием, химикалии, необходимые для проявки. Люди в кожаных передниках, заносящие все это в квартиру, сотрудники технического отдела французской уголовной полиции. Несколько дней спустя я отправляюсь туда с инспекцией.

Близится вечер благоуханного апрельского дня, деревья покрылись листвой, птицы щебечут в министерском саду, мне кажется, что природа посмеивается над моим занятием. Я в гражданской одежде, шляпа у меня слегка натянута на нос, чтобы скрыть верхнюю часть моего лица. Немецкое посольство всего в каких-то двух сотнях метров от нашей входной двери – мне нужно только повернуть налево из нашего здания, потом направо, и я тут же оказываюсь на узенькой улице Лиль. Прямо передо мной слева я вижу дворец Богарне, его номер – 78. От дороги его отделяет высокая стена, но большие деревянные ворота открыты в мощный двор, где стоят два авто. В конце двора – впечатляющий пятиэтажный особняк с портиком на колоннах. К дверям ведут ступени, застланные ковром, с флагштока свисает флаг с немецким имперским орлом.

Снятая нами квартира расположена напротив, в доме 101. Я вхожу и направляюсь к лестнице. Из-за закрытой двери на цокольном этаже до меня доносятся гортанные немецкие голоса – один что-то говорит, и его голос все больше захлебывается весельем, и наконец я слышу общий взрыв смеха. Этот мужской рев преследует меня, пока я поднимаюсь на второй этаж. Я стучу четыре раза. Дюкасс приоткрывает дверь и распахивает, чтобы я мог войти.

Воздух в квартире спертый. Окна закрыты ставнями, горит электрический свет. Звук веселящихся внизу немцев проникает и сюда, но более приглушенным. Дюкасс в носках без обуви прикладывает палец к губам и манит меня в гостиную. Ковер свернут к стене. На голых досках пола лежит животом вниз Девернин, без обуви, головой в камине. Я начинаю что-то говорить, но он подносит палец к губам. Потом резко вытаскивает из камина голову и поднимается на ноги.

– Кажется, они закончили, – шепчет Девернин. – Черт побери, полковник! Они сидят у самого камина, и я почти разбираю, что они говорят. Но не совсем. Вы не могли бы снять обувь?

Я сажусь на край стула, стаскиваю туфли, оглядываюсь, восхищаясь продуманностью, с которой Девернин оборудовал эту тайную квартиру. На окнах три комплекта закрытых ставень с глазками, сквозь которые видно немецкое посольство по другую сторону улицы. У одного из окон на треноге камера последней модели, специальный «Кодак», купленный в Лондоне за восемнадцать фунтов стерлингов, тут же жестяная коробка для пленки и набор разных линз. У другого отверстия установлен телескоп, у третьего стоит стол с журналом, куда Дюкасс записывает время и всех посетителей. К стене приклеены студийные фотографии лиц, которые нас интересуют: Эстерхази, фон Шварцкоппен, граф Мюнстер – пожилой немецкий посол и майор Паниццарди – итальянский военный атташе.

Девернин, глядя в третий глазок, дает мне знак подойти, а сам отходит, уступая мне место. Четверо элегантно одетых во фраки мужчин пересекают улицу внизу, они идут от нас и спинами к нам. Останавливаются у ворот, двое обмениваются рукопожатием с третьим, после чего направляются во двор – предположительно, немецкие дипломаты. Двое оставшихся у ворот смотрят им вслед, потом поворачиваются и продолжают разговор.

Дюкасс, наводя телескоп на резкость, говорит:

– Жорж, слева – Шварцкоппен, справа – итальянец Паниццарди.

– Посмотрите в телескоп, полковник, – предлагает Девернин.

Мне кажется, что два человека в окуляре совсем близко от меня, поразительно, я чуть ли не стою рядом с ними. Шварцкоппен строен, у него точеные черты, он привлекательно бодр, прекрасно одет – денди. Смеясь, откидывает голову назад, демонстрируя ряд идеально белых зубов под широкими усами. Паницарди положил руку ему на плечо и, кажется, рассказывает какую-то забавную историю. Итальянец красив на иной манер – круглолицый, кудрявые темные волосы зачесаны назад с широкого лба, – но и в его чертах видны те же живость и веселость. Рука Паницарди по-прежнему лежит на плече немца. Они смотрят в глаза друг другу, не замечая ничего вокруг.

– Бог ты мой! – восклицаю я. – Да они же влюблены!

– Слышали бы вы их вчера – в спальне внизу, – ухмыляется Дюкасс.

– Грязные пидоры, – бормочет Девернин.

Интересно, знает ли мадам де Веде о пристрастиях своего любовника... Вполне возможно, думаю я. Меня уже ничто не удивляет.

Наконец смех на противоположной стороне улицы угасает до улыбок. На лице Паницарди выражение неуверенности, потом они подаются друг к другу, обнимаются, прикасаются одной щекой, другой. Слева от меня щелкает камера – Девернин делает снимок, потом перематывает пленку. Это объятие, увиденное случайным прохожим, представляется не более чем выражением дружеской привязанности, но от безжалостного увеличения не скроешься: они что-то шепчут друг другу. Наконец они размыкают объятия. Паницарди в прощальном жесте поднимает руку, разворачивается и исчезает из вида. Шварцкоппен несколько секунд остается неподвижен, на его губах блуждает полуулыбка, потом он поворачивается на каблуках и удаляется в посольский двор. Фалды его фрака развеваются на ходу – довольно впечатляющее зрелище, в его движениях что-то кичливое, мужественное. Потом он засовывает руки глубоко в карманы брюк.

[Купить полную версию книги](#)

---

notes



Во дворце де Бриенн, названном так по имени одного из его прежних владельцев, графа де Бриенна, располагается резиденция военного министра (ныне министра обороны) Франции. – *Здесь и далее, кроме особо оговоренных, примеч. перев.*



*Жак-Луи Давид* (1748–1825) – французский живописец, крупный представитель французского неоклассицизма.

*Военная школа* – обширный комплекс зданий различных военных учреждений Франции, расположенный в VII округе Парижа, в юго-восточной части Марсова поля.

*Мюлуз* – город и коммуна на северо-востоке Франции в Эльзас-Лотарингии.

«Самбра и Маас» – военный французский марш, созданный в 1870 году Робером Планкеттом на слова Поля Сезано.

*Кайенна* – административный центр Французской Гвианы, заморского департамента Франции.

*Чертов остров* – один из трех островов архипелага Салю, в 13 километрах от побережья Французской Гвианы; в 1852–1952 годах служил тюрьмой для особо опасных преступников.

Война 1870 года между Францией и Германией закончилась сокрушительным поражением французской армии, потери которой превысили 140 000 человек; по условиям мирного договора Эльзас и Лотарингия стали частью Германии. – *Примеч. автора.*

*Жан Поль Пьер Казимир-Перье* (1847–1907) – французский банкир и государственный деятель, президент Франции времен Третьей республики; шестимесячное правление его в 1894–1895 годах – самое непродолжительное в истории страны. – *Примеч. ред.*



*Па-де-де (фр.)* – балетный номер, исполняемый двумя партнерами.

*Бордеро (фр.)* – сопроводительная записка.

*Гваяковое дерево* – вид деревьев, произрастающих в тропических странах; отвар его коры с начала XVI века был в Европе популярным средством при сифилисе. – *Примеч. ред.*

*Франсуа-Феликс Фор* (1841–1899) – французский политический деятель, президент Французской республики в 1895–1899 годах. – *Примеч. ред.*

*Себастьян Эрар* (1752–1831) – французский мастер по изготовлению музыкальных инструментов, немец по происхождению, основатель одноименной фирмы.

*Шерш-Миди* – военная тюрьма в Париже.

*Оранжед* – напиток, аналогичный лимонаду, но приготовленный из апельсинов или с использованием готового апельсинового сока. – *Примеч. ред.*

*Пабло Казальс-и-Дефильо* (1876–1973) – каталонский виолончелист, дирижер, композитор.



*Байройт* – город в Баварии; знаменит регулярными Вагнеровскими фестивалями.

*Апелласьоны*, или наименования, контролируемые по месту происхождения, законодательно были оформлены лишь в прошлом веке. Однако как понятие они существуют примерно с тех же пор, что и вино. Системы апелласьонов и отдельных виноградников (*крю*), сложившиеся во Франции, стали моделью и для других стран.

*Re* – остров у западного побережья Франции близ Ла-Рошели.

*Сезар Франк* (1822–1890) – французский композитор и органист.

«*Пти блю*» (фр. petit bleu) – дословно: «маленькая голубая» – один из телеграфных тарифов пневматической почты во Франции, получил название по цвету бланка, на котором отправлялись такие телеграммы. В деле Дрейфуса «пти блю» стала одной из важнейших улики.

*Франкировка* – форма предварительной оплаты почтового сбора, материальное свидетельство оплаты услуг почтовой связи. – *Примеч. ред.*

Названы так по имени Жан-Жака Пелисье (1794–1864) – французского военачальника, маршала Франции.

«Фоли-Бержер» – знаменитое варьете и кабаре в Париже.